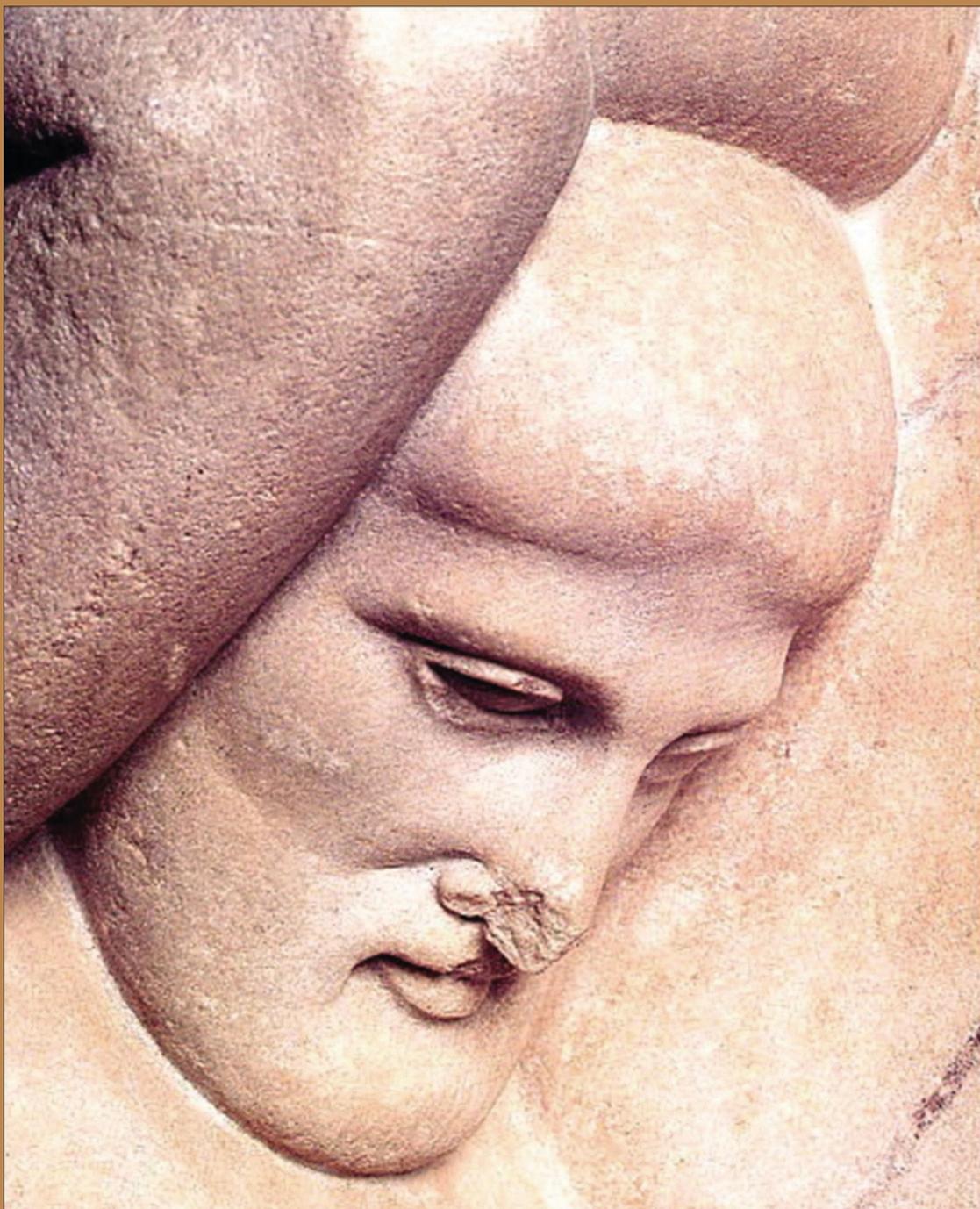


Александр Мень



Дионис, Логос,  
Судьба

В поисках Пути, Истины и Жизни

Александр Мень

**В поисках Пути, Истины  
и Жизни. Т. 4: Дионис,  
Логос, Судьба: Греческая  
религия и философия от эпох  
колонизации до Александра**

«Гуманитарно-благотворительный  
фонд имени Александра Менья»

2009

УДК 2  
ББК 86.3

**Мень А.**

В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 4: Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпох колонизации до Александра / А. Мень — «Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Менья», 2009 — (В поисках Пути, Истины и Жизни)

ISBN 978-5-903613-00-7

В книге, посвященной Греции, автор с терпением и любовью ведет читателя по путям поиска Истины за древнегреческими поэтами и философами. И многое оказывается понятным и близким – ведь материализм и тоталитарная идеология, метафизика и оккультизм, агностицизм и вера в Судьбу вошли в наше сознание и европейскую культуру именно из древней Эллады.

УДК 2  
ББК 86.3

ISBN 978-5-903613-00-7

© Мень А., 2009  
© Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Менья, 2009

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Введение                          | 6  |
| Часть I                           | 9  |
| Глава первая                      | 9  |
| Глава вторая                      | 17 |
| Глава третья                      | 28 |
| Глава четвертая                   | 35 |
| Глава пятая                       | 42 |
| Часть II                          | 49 |
| Глава шестая                      | 49 |
| Глава седьмая                     | 57 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 65 |

# Протоиерей Александр Мень В поисках Пути, Истины и Жизни. Том 4: Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпохи колонизации до Александра

*О, смертной мысли водовет,  
О, водовет неистоцимый!  
Какой закон непостижимый  
Тебя стремится, тебя мятет?  
Как жадно к небу рвешься ты!..  
Но длань незримо-роковая  
Твой луч упорный преломляя,  
Свергает в брызгах с высоты.*

**Ф. И. Тютчев**

Редакционная коллегия:

*Роза Адамяни, Наталия Вторушина, Наталья Григоренко, Павел Мень*



Издательство благодарит Юликова А. М. за художественное оформление обложки, сюжет которой был предложен автором.

## Введение

*Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.*

*Из речи апостола Павла к афинянам Деяния 17, 23*

В Евангелии есть единственное место, где упомянуты греки: когда они через апостола Филиппа искали беседы с Иисусом. Эпизод, казалось бы, мимолетный, о котором говорится очень мало, но знаменательны слова Христа, сказанные по этому поводу: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин 12, 23). Речь, очевидно, идет не о Его небесной славе, а о принятии людьми Благой Вести<sup>1</sup>. И действительно, эллинистический мир, окружавший со всех сторон Иудею, стал первым полем жатвы апостолов, когда они обратились с проповедью к язычникам. Вышедшее из библейской страны слово было принято людьми античного общества и культуры, и на этой почве возростала Вселенская Церковь. Мученики и апологеты, учителя и отцы Церкви в большинстве своем были сынами греко-римского мира. Этот факт, оказавший огромное влияние на жизнь христианства, не мог быть случайным, он имел много предпосылок, из которых мы выделим две основные.

Прежде всего, многие античные идеи подготовили умы к восприятию Евангелия. Как не для всех иудеев оно было «соблазном», так и не все эллины видели в нем «безумие». Когда греки и римляне, искавшие истину, приходили к христианству, они обнаруживали в нем немало того, чему учили их философы. Это облегчало им приобщение к Церкви, и, в свою очередь, сами они, возвещая Слово Божие, прибегали к системе античных понятий.

«Когда говорим, что все устроено и сотворено Богом, – писал во II в. св. Иустин Мученик, – то окажется, что мы высказываем учение Платоново; когда утверждаем, что мир сторит, то говорим согласно с мнением стоиков; и когда учим, что души злодеев, и по смерти имея чувствование, будут наказаны, а души добрых людей, свободные от наказания, будут жить в блаженстве, то мы говорим то же, что и философы»<sup>2</sup>. Эти совпадения не являлись в глазах святого простой случайностью. Он верил, что Логос задолго до воплощения уже «был причастен роду человеческому» и открывал людям истину постепенно. Как иудейские праведники были служителями Слова, «христианами до Христа», так и эллинские мудрецы могли быть ими, если внимали голосу Божию. Среди них св. Иустин называет Сократа и Гераклита<sup>3</sup>.

С другой стороны, в эпоху первохристианской проповеди античный мир переживал глубокую неудовлетворенность своим мирозерцанием. Самые великие достижения эллинской мысли не могли утолить жажду новых идеалов, и этот кризис подготовил античного человека к принятию учения, пришедшего с Востока.

Правда, о чувстве духовной несостоятельности, томившем древний мир, впоследствии было забыто. Со времен Ренессанса «беломраморная Эллада» стала рисоваться европейцам как законченное воплощение всего прекрасного, разумного и счастливого. Слово «Греция» привыкли ассоциировать со сказочной картиной, которая надолго заорожила лучшие умы Европы. Ослепительно белые колонны на фоне глубокой лазури; статуи, овеянные величием и покоем; боги, приветливые, как люди; люди в белых одеждах, прекрасные, как боги, мудрые, просветленные; алтари среди кипарисовых рощ, веселые наяды, играющие у ручьев; философы, свободно обсуждающие мировые вопросы... Нет ни крайностей, ни нетерпимости. Повсюду царят разум, равновесие и совершенство. Здесь прекрасно все: и гражданская доблесть, и семейный очаг, и старинные обряды, и гимнастические состязания.

Такой была эта обетованная земля в представлении многих – вершиной человечества, золотым веком его истории. «Греция представляет нам отрадную картину юношеской свежести

духа», – писал Гегель, определявший эллинские верования как «религию красоты». В известном стихотворении Шиллера «Боги Греции» эта вера в Элладу звучит восторженным панегириком:

Обычного земного поклоненья  
И тяжких жертв не требовалось там,  
Там счастья искали все творенья;  
Кто счастлив был, тот равен был богам.

Сколько было сказано и написано о волшебной красоте греческой природы и скульптуры, о жизнерадостности греков, о независимости и оптимизме их мышления! Сколько раз Греция, искусство которой Маркс называл «нормой и недостижимым образцом», становилась законодательницей мод, властительницей дум! Просвещение и наука были неотъемлемыми атрибутами Эллады в глазах поборников «светской культуры». Вторя древним язычникам, они утверждали, будто Евангелие разрушило «мир мудрости и светлой радости». Мысль о том, что античный мир мог нуждаться в какой-то более полной истине, казалась нелепой: чему было учиться Элладе у «скорбного дисгармоничного Востока»? Ницше видел в Греции оплот духовной свободы, а мироотрицание и рабство связывал с верой Библии. Он прошел мимо Песни Песней и Книги Иова, забыл о Кане Галилейской и евангельских словах: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». А ведь не кто иной, как он сам, приводил греческую легенду о Силене, у которого люди хотели выведать секрет счастья; пойманный по приказу царя демон долго молчал, но наконец воскликнул: «О человек, эфемерное создание, дитя злой судьбы! Лучше для тебя вовсе не родиться, а уж если явился на свет, тебе хорошо умереть как можно скорее».

Эти слова легенды, столь далекие от пресловутой «жизнерадостности» греков, позволяют увидеть античность в совершенно ином свете.

С привычными представлениями всегда трудно расставаться, тем не менее сегодня следует признать, что старый романтический образ Греции далек от действительности: он является лишь одним из мифов, унаследованных от эпохи Возрождения.

Первая брешь в этом мифе была пробита открытием богатств древневосточной культуры. Прежде эллинство казалось каким-то уникальным островом мысли и искусства среди темного, варварского мира. Теперь же обнаруживалось, что на Востоке поэзия, наука, зодчество, скульптура и живопись расцвели задолго до того, как появились в Греции. Изучая античный быт, археологи убедились, что он был мало похож на идеальную картину, нарисованную мифом об Элладе. Даже в Афинах рядом с прекрасными храмами теснились жалкие кварталы, где было столько же грязи, смрада, неудобств и нищеты, сколько в любом городе древнего мира.

Когда спала с глаз пелена предвзятости, по-иному стала вырисовываться и греческая история. Ведь подобно всем другим, она была полна зверств, предательств, насилий, безумия и фанатизма; она знала и коррупцию властей, и преследования инакомыслящих, и жестокий деспотизм.

Изучение греческой религии и философии за последние сто лет окончательно развеяло миф об Элладе. Еще в XIX в. была как бы заново открыта мистическая Эллада, суровая и трагичная. Стало понятно, чем были для греческого духа буйная стихия Диониса, вера в Судьбу, породившая «античный ужас»; обнаружилась удивительная близость путей Греции и Востока<sup>4</sup>. В результате этих переоценок античный мир не потерял своего индивидуального лица, но оно уже более не казалось божественным.

В этой новой Элладе по-прежнему остается место эстетам и жизнелюбцам, скептикам и рационалистам, но мы также находим в ней пессимизм и уныние, растерянность и отвращение к жизни. Мы обнаруживаем в ней мистическую тоску и проповедь аскетизма. По-другому

прочитываются теперь и давно известные античные тексты. Из них явствует, что древний грек отнюдь не был наивным баловнем счастья. Напротив, он слишком часто ощущал себя игрушкой неведомых сил, и даже боги не были в его глазах свободными существами.

Печатью трагичности отмечена и история греческой мысли. Неимоверные усилия проникнуть с помощью разума в тайники Сущего при всем их героическом величии были отравлены сознанием своей немоги и безнадежности.

Всего этого слишком долго не видели или не хотели видеть, а между тем, быть может, именно здесь трепетало самое сердце греческого мира.

Стоит ли сожалеть о развенчанном мифе? Лишилась ли теперь Греция своей красоты и значительности? Скорее наоборот. Эта страдавшая, искавшая, заблуждавшаяся Эллада дороже нам, чем та – воображаемая. Современный мир во многом повторяет ее опыт: так же, как она, он мечется, бросаясь от материализма и тоталитарной идеологии к метафизике и оккультизму. Поэтому, лишенная своих стилизованных одеяний и перестав быть идеалом, Греция становится более близкой к нам в своей скорбной неудовлетворенности, в искании вечного и совершенного.

## Часть I

### Сумерки олимпа и греческая мистика

#### Глава первая

#### Железный век. Гесиод. Греция и Иония, 1000— 600 гг. до н. э

*О, где же вы, святые острова,  
Где не едят надломленного хлеба,  
Где только мед, вино и молоко,  
Скрипящий труд не омрачает неба  
И колесо вращается легко?*

*О. Манделштам*

В истории большинства древних религий есть переломный момент исключительной важности: когда человек, впервые осознав священный характер порядка, гармонии и разума, противопоставляет их иррациональным силам хаоса. Этот момент запечатлен в мифах *о борьбе богов*. Против стихийных демонов первобытного мира выступают божества человекоподобные, созидающие стройную иерархию мироздания.

В античной религии это пока еще смутное ощущение божественности разума и духа выразили сказания, во многом похожие на мифы Вавилона, Египта, Ханаана. Если на Востоке Мардук, Ра, Ваал-Хадад поражают чудовищ, то у греков мы видим дружину Зевса, низвергающую в бездну титанов и гигантов, и Аполлона, расправляющегося с драконом.

В плане узкоисторическом эти мифы – отголосок той эпохи, когда племенные боги ахейцев утвердились на полуострове, оттеснив древнейшие культы туземцев Греции. Боги-победители поселились на Олимпе, который в представлении эллинов стал уже не только горой, но и некоей небесной областью. Обитатели Олимпа мыслились как существа, во всем, кроме бессмертия, сходные с людьми. Мифы красочно рисуют их жизнь среди войн и соперничества, интриг и пиров, любви и ненависти. Звон оружия, пение, «несказанный смех» постоянно оглашают Олимп, разительно напоминая царские дворы Микен или

Тиринфа. В этой картине нельзя, однако, видеть только грубозычское понятие о богах. Победа Олимпийцев над темными сынами Матери-Земли отразила гордое самосознание человека-борца, человека-деятеля и устроителя жизни, узнавшего о своем превосходстве над природой. Сколь бы странно это ни казалось на первый взгляд, триумф человекоподобных богов в наивной форме заявлял о вере в высшую значимость духовного начала. Олимпийский миф стал предтечей и прообразом учений греческих философов о космическом Разуме-Логосе.



### Гора Олимп

Однако победа Олимпа, как гласит сказание, не была полной: сразив титанов и чудовищ, боги не решились посягнуть на саму Богиню-Мать. Верховная власть осталась за ней. И мы видим, что в греческой религии превыше всего, даже Олимпа, продолжала тяготеть неизбывная *Судьба*, которую невозможно было ни постичь, ни одолеть, ни умолить. Она являлась все той же Богиней-Прародительницей. Именно здесь корень того фаталистического чувства, из которого родилась античная трагедия, воспевшая тщетный поединок человека с Неведомым<sup>5</sup>.

Таким образом, трон Зевса оказался непрочным, а господство его в конечном счете – мнимым. Отсюда понятно, почему наряду с почитанием Олимпа мы постоянно встречаем в Греции попытки вернуться к древней религии Природы.



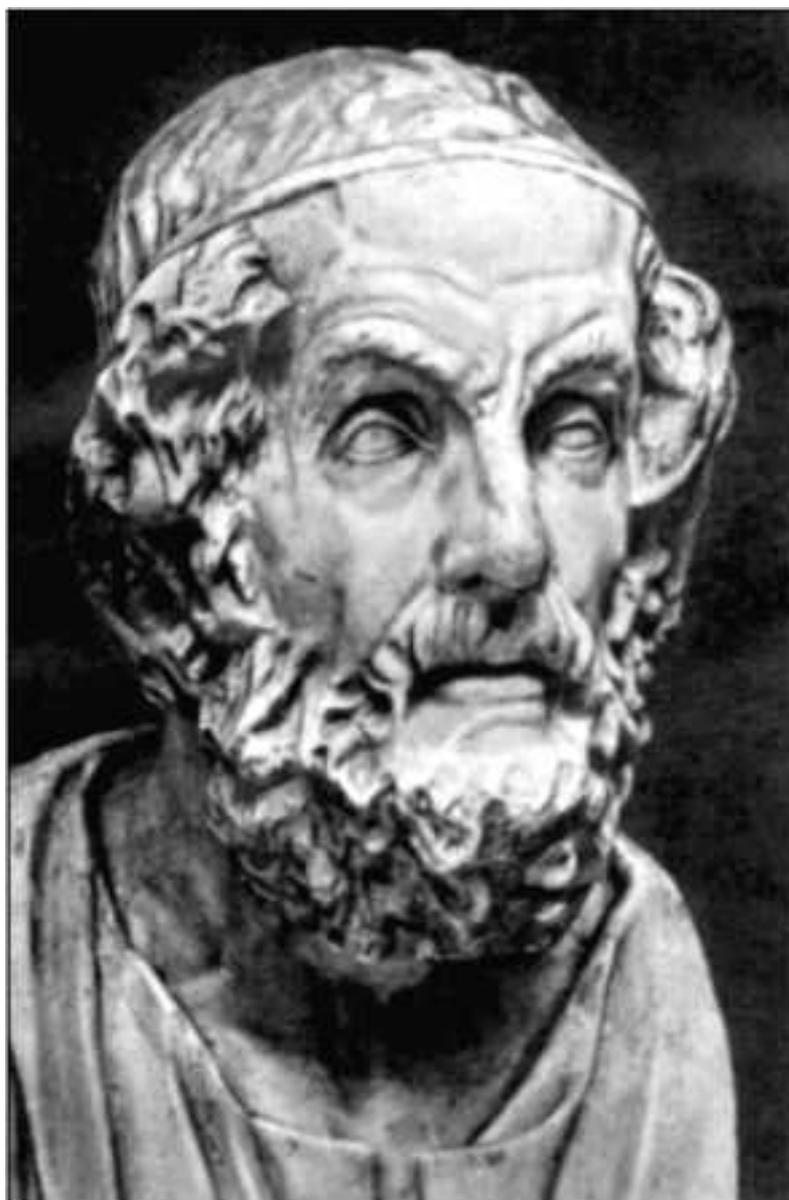
Зевс и гигант. *Рисунок с античной вазы*

Почему же ахейский пантеон смог тем не менее устоять и в течение веков оставаться в центре официальной религии греков? Причину этого мы поймем, если обратимся к смутной эпохе XII в. до н. э., когда весь средиземноморский мир всколыхнули войны и переселения народов.

Троянский поход и нашествие дорийцев привели к упадку, а затем к гибели старые ахейские царства. Микены, Пилос и другие прославленные Гомером города были разрушены; замерла торговля, страна оказалась в изоляции и скоро впала в нищету и одичание<sup>1</sup>.

Эти события могли бы стать роковыми для Олимпийской религии, однако одно обстоятельство предотвратило ее исчезновение. Вторжение дорийцев и разруха не коснулись *Ионии* — малоазиатских городов, заселенных греками. Ионийцы сумели сохранить микенские предания, а вместе с ними и веру в своих богов.

Религия оказалась неразрывно сплетенной с героическим прошлым Греции. Поэмы *Гомера*, сложенные в Малой Азии, увековечили не только древних витязей и царей, но и Зевса с его свитой. Отказ от старых богов означал бы теперь для греков разрыв с самыми дорогими воспоминаниями. «Илиада» и «Одиссея» стали отныне и памятником национальной традиции, и настоящей энциклопедией, откуда многие поколения эллинов черпали свои религиозные понятия.



Гомер. Античный бюст

---

<sup>1</sup> См.: А. Мень. Магизм и единобожие, гл. XVI.

Геродот впоследствии писал, что до Гомера греки не имели ясного представления о богах, их жизни, отношениях и сферах деятельности<sup>6</sup>. Таким образом, стремление сохранить отечественное наследие привело к образованию своего рода «гомеровской религии», для которой поэмы ионийского певца послужили чем-то вроде священной книги.

В силу этого некоторые историки называли Гомера религиозным реформатором, но, пожалуй, вернее было бы считать его хранителем и собирателем народных преданий. Не в религиозной области, а в сфере художественной проявился его творческий гений. Можно сомневаться, внес ли он в религию нечто свое; скорее всего поэт лишь претворил в пластические образы старинный ахейский пантеон.

Как бы то ни было, Иония и Гомер спасли Олимп от забвения. Но они мало что сделали для одухотворения прежних верований, и поэтому новый религиозный кризис, на этот раз связанный с ломкой жизненного уклада Греции, стал неизбежным.

\* \* \*

Со времен Троянской войны, на протяжении двух-трех веков, облик Эллады постепенно изменялся. Вслед за нашествием дорийцев пришли годы относительного спокойствия: каждое племя отвоевало себе земли, образовав новые *полисы*, города-государства. Дорийцы осели на юге, ионийцы утвердились на Аттическом полуострове. Все полисы чтили общую святыню – Дельфийского оракула, которого дорийцы пощадили, как некогда ахейцы – Додону. Появилась общегреческая письменность, созданная на финикийской основе. Мирные профессии стали выдвигаться на первый план. Железо, секрет выплавки которого был принесен в страну дорийцами, помогло улучшить орудия труда. Вновь начали развиваться заброшенные во время войны ремесла. К VIII в. греческий мастер уже владел не только долотом и стамеской, но также циркулем, линейкой, уровнем.

Росло население, страна должна была кормить все большее число людей, крестьяне уходили в море на поиски плодородных земель. Корабли греков шли по следам древних критян и финикийцев; десятки факторий и поселков возникали по берегам Средиземноморья. Началась эпоха *колонизации*. Многие существующие и поныне города – Неаполь и Мессина, Марсель и Константинополь, Одесса и Феодосия – основаны греческими колонистами.

Немало удачливых путешественников, отправившихся в путь бедняками, возвращались обогащенными. Старые аристократические семьи эвпатридов, которые вели свой род от богов и героев, постепенно теряли былое значение. Далеко в прошлое ушли грабительские походы их предков, теперь состояние добывалось иными путями. Появились деньги.

С возникновением «капитала» торговцы получили возможность накапливать свои доходы: деньги не портятся, как вино и пшеница, и они не просто символ богатства, они – богатство реальное, благодаря им открывается путь к власти. Достаточно было их хозяевам пожелать, как эти кусочки металла превращались в нагруженный товарами корабль, который шел к гаваням Архипелага, Черного моря, Азии или Италии и возвращался, нагруженный еще большим количеством могущественного металла.

Эти новые перспективы буквально вскружили грекам головы; начинается всеобщая погоня за наживой. Именно в это время складываются поговорки: «Честь следует за богатством», «Деньги делают человека». Поэт Феогнид, поклонник аристократической чести и родовой гордости, с осуждением говорит о распространенных в те годы браках по расчету, когда «знатный берет себе в жены простую, простолюдин – госпожу». Он жалуется, что проходимцы, которые вчера еще бродили в лохмотьях, обогатившись, «стали теперь господами».

Впрочем, если в каком-то смысле знатные греки уравнивались с людьми низкого происхождения, то, с другой стороны, создавались и новые подразделения. Власть денег разрушала обы-

чай и нормы поведения, которые еще сохранились от старинных героических времен. Понятия о чести и порядке утратили свою силу:

Ныне несчастья добрых становятся благом для низких  
Граждан; законы теперь странные всюду царят:  
Совести в душах людей не ищи; лишь бесстыдство  
и наглость,  
Правду победно поправ, всею владеют землей<sup>7</sup>.

Примечательно, что в Греции подобные голоса, осуждающие упадок нравов, раздавались в основном не в среде служителей религии, а исходили от поэтов. И это происходило не потому, что жрецы не имели влияния; напротив, Дельфийский оракул, например, пользовался большим авторитетом. Причина здесь заключалась в том, что Олимпийский культ сам по себе был лишен внутреннего источника духовно-нравственной силы.

Правда, и Гомер, и жрецы Дельф утверждали, что Зевс карает клятвопреступников, что боги требуют от людей честности, но эти моральные требования никак не вязались с образами Олимпийцев, сложившимися под влиянием гомеровского эпоса. Стоит лишь вспомнить, например, что лукавый Гермес именовался в одном гимне «изворотливым ловкачом, докой, хитрым пролазой»; он был плоть от плоти пронырливого купеческого сословия. Нравы богов служили нередко примером для людей, поступавших коварно или жестоко.

Неудивительно поэтому, что сельские жители Греции относились к Олимпийцам несколько прохладно. Крестьянам куда ближе были старые, доахейские божества древних туземных племен, культы которых не могли полностью искоренить никакие исторические перемены. Правда, как члены общин люди продолжали формально почитать персонажей гомеровской мифологии, но тепло своей души предпочитали отдавать Матери-Земле, нимфам и демонам стихий.

\* \* \*

Выразителем настроений греческого земледельца стал беотийский поэт конца VIII в. до н. э. *Гесиод*.

Судьба этого человека была типичной для того времени. Отец его, разорившийся крестьянин, пытал счастья в колониях, но торговца из него не вышло, и, гонимый «злой нищетой», он вернулся на родину. Гесиод родился в суровом краю у горы Геликон, где зимой постоянно дуют пронзительные ветры, а летом царит изнуряющий зной. На этом унылом фоне протекала жизнь поэта, с ранних лет познавшего нужду и тяжелый труд. Скучная земля едва могла пропитать его семью. После смерти отца Гесиода постоянно преследовали неудачи. Тяжбу из-за скудного наследства выиграл его младший брат, Перс, который, подкупив судей, обрек Гесиода на нищету.

Дальнейшие взаимоотношения братьев мало известны, но из поэмы «Труды и дни», в которой Гесиод обращается к Персу, явствует, что соперники примирились. Правда, произошло это лишь после того, как Перс сам разорился, но Гесиод наставляет его без всякого злораства: скорее как отец, чем как оскорбленный брат.

По тематике стихи Гесиода вполне можно назвать религиозными. Его интересовала старая мифология; в своей «Теогонии» он собрал сказания о происхождении богов, об их борьбе с титанами и победе Олимпа. Но религиозный дух в поэме отсутствует. Бросается в глаза, что перипетии бессмертных Гесиод рисует как нечто далекое от человека, почти его не касающееся. Боги живут сами по себе: спорят, воюют, вступают в браки, – люди же мелькают в «Теогонии» как третьестепенные существа. Мало того, очевидно, что Зевс не только не помогает

им, но и настроен по отношению к ним враждебно. Только Прометей (возможно, древний бог туземцев Греции) вступает за них и добывает им огонь. Поэт глухо намекает на какую-то распря между людьми и богами<sup>8</sup>. Все это доказывает, что собиратель мифов был далек от искреннего благоговения перед Олимпом.

Свои раздумья о жизни и вере Гесиод изложил в поэме «Труды и дни». Натура меланхолическая, человек, привыкший на все смотреть сквозь призму мудрой печали, Гесиод отворачивал свой взор от грозной красоты Геликона, предпочитая описывать ненастные дни и унылое завывание ветра в горах. Но природа стучалась в его сердце, когда он пас коз, и Гесиод наконец научился различать ее таинственные голоса.

Он рассказывает, что ему стали являться божественные девы Музы, владеющие секретами счастья и мудрости. Была ли то лишь аллегория или действительно видения и сны вдохновляли поэта, во всяком случае Гесиод считал себя избранником Муз, отмеченным их печатью. Он не походил на экзальтированного мистика, для этого у него был слишком трезвый и земной ум крестьянина, однако именно любовь к земле и труду составляла самое существо его религиозности.

Надо признать, что Музы не баловали поэта новыми откровениями. Скорее наоборот, Гесиод, излагая их «учение», становится поборником возврата к архаическим верованиям и обычаям. Наставления «Трудов и дней» – это не что иное, как огромная система первобытных табу и суеверий. Когда Гесиод говорит о семье Олимпийцев, речь его лаконична и суха, зато там, где он касается хтонических<sup>2</sup> поверий, в его голосе начинают звучать искренность и сердечность.

Он заботливо сообщает Персу о необходимых правилах и предосторожностях. Вступая в прозрачные струи ручья, не забудь помолиться нимфам и омыть руки, в противном случае тебя ждут несчастья. Омовения необходимы при принесении жертвы. Стоя перед божеством, человек не смеет быть обнаженным; обнажаясь после захода солнца, можно оскорбить Ночь. Когда сидишь на пиру, грех обрезать ногти. Если вступаешь в брак, не забудь вопросить Судьбу через полет птиц. Мальчик, случайно положенный в гробницу, рискует впоследствии потерять мужскую силу.

Гесиод скрупулезно отмечает все священные дни, указывая, в какой из них лучше стричь овец, делать запасы, зачать младенца мужского пола или приручить быка. Особые дни положены для вскрытия сосудов с вином и начала постройки корабля. Множество и других подобных премудростей заключено в «Трудах и днях».

Откуда же у грека той эпохи эта тяга к старинным обрядам, к миру древнейших земледельческих верований? Ведь все изложенное у Гесиода не было лишь его личной фантазией или пристрастием; его поэмы не прославились бы так, если бы воззрения поэта не привлекали симпатии многих. В художественном отношении они бесконечно уступали Гомеру, и, следовательно, современников интересовали прежде всего выраженные в них идеи. Секрет успеха Гесиода заключается в том, что он выразил настроения крестьян, осуждавших новшества городской жизни.

Гесиод – апологет прошлого, кладезь житейской мудрости пахаря. Он прославляет загородный труд патриархальной старины и почти с отвращением говорит о морских путешествиях, источнике обогащения торговцев. «Труды и дни» изобилуют практическими советами по сельскому хозяйству; Гесиод говорит об этих вещах уверенно и как знаток. Отказ от новой, городской цивилизации рожден у поэта тоской по «утраченному раю» сельской идиллии.

---

<sup>2</sup> От греч. *хтон* – почва. Культы, связанные с землей.

\* \* \*

Поэма Гесиода – один из первых в истории примеров протеста против роста материальной культуры. Нетрудно понять причины этого протеста. Человек, как правило, не знал меры в своих начинаниях: цивилизация слишком часто принимала уродливый характер, вызывая у людей недовольство и тягу к опрощению. Древний мир знал своих Руссо и Толстых. Израильские рехавиты отказывались жить в каменных домах, выращивать виноград и стричь волосы; Лао-цзы мечтал о временах первобытной естественности; точно так же и Гесиод – враг городской жизни, проповедник возврата к жизни природной.

Главным аргументом этих людей против цивилизации было то, что она ведет мир к нравственному вырождению. Именно поэтому они видели в росте городов причину всех бедствий народа. Гесиод с горечью говорит о всемогуществе денег, алчности и подкупах. Неправедного судью он сравнивает с ястребом, который, сжав в когтях соловья, надменно спрашивает: «Что ты, несчастный, пищишь?» Гесиоду многое открыл здесь собственный печальный опыт.

Лжи, корысти и насилию поэт противопоставляет божественную справедливость — *Дике*. Хотя, следуя общей традиции, он и связывает эту богиню с Олимпом, но в сущности она как-то не вяжется с ним. Может ли Дике быть наперсницей Зевса, если он является скорее врагом, чем другом человека? Ведь по его воле род людской обречен на борьбу за жизнь.

Скрыли великие боги от смертных источники пищи:  
Иначе каждый легко бы в течение дня наработал  
Столько, что целый бы год, не трудясь, имел пропитанье.  
Тотчас в дыму очага он повесил бы руль корабельный...  
Но далеко Громовержец источники пищи запрятал<sup>9</sup>.

И, однако, Гесиод далек от богоборчества. Пусть его интерес к истории богов – это не интерес почитателя, а скорее желание знать мир противника, тем не менее этот мотив тщательно скрыт. Вместе с поверженными титанами поэт признает владычество Олимпа. Он боится его, и ему хочется, чтобы Зевс правил в согласии с Дике. Быть может, увещевая брата быть справедливым и честным, Гесиод в глубине души признавал, что в этих поучениях Зевс нуждается не меньше, чем Перс. Но господин есть господин. Судьба поставила Зевса над миром, и человеку неоткуда ждать помощи. Громовержец лишь терпит его. Конечно, у людей есть друзья – это демоны и нимфы, помощники крестьянина, но и они подчиняются Зевсу.

Гесиоду кажется, что участь людей – медленное угасание, и отсюда рождается его *исторический пессимизм*. Он с восторгом говорит о дозевсовом времени, когда люди процветали под властью Крона. То был золотой век, когда смертные «не знали ни горя, ни печали, ни тяжкого труда». Не было жестокого соперничества между ними, не было мучительных противоречий веры и жизни, «душа их была спокойной и ясной». Трудились с радостью, умирали, «словно объятые сном». Но времена эти прошли безвозвратно.

Следующее, серебряное поколение – уже значительно хуже, оно породило безумцев, отказавшихся от служения богам. Вероятно, в предании о них смутно отразился облик ахейских пришельцев, отвергших старые культы, в то время как золотой век мог быть воспоминанием о славных временах Крита.

За серебряным следовало медное поколение могучих богатырей. Но «сила их собственных рук ужасную принесла им погибель».

Четвертый период – время героев Троянского похода. «Грозная их погубила война и ужасная битва». И вот наконец наступил *железный век* – закат человечества. Обуюнные жад-

ностью и злобой люди ведут между собой нескончаемую борьбу. Поэт сетует на то, что ему суждено быть свидетелем этой мрачной эпохи.

Если бы мог я не жить с поколением пятого века!  
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться.  
Землю теперь населяют железные люди. Не будет  
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,  
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им<sup>10</sup>.

Но впереди Гесиод видит нечто еще худшее – полное одряхление людей; ему кажется, что история – это наклонная плоскость, по которой они скользят в бездну.

Миф о возрастах человечества, воскрешенный в наши дни Шпенглером и Тойнби, был известен еще в Вавилоне, где впервые сложилось пессимистическое воззрение на мир<sup>11</sup>. Но Гесиод самостоятельно обработал эту тему для того, чтобы выразить свое печальное кредо.

Беотийского певца часто сравнивали с пророком Амосом. Действительно, этот великий современник Гесиода тоже вышел из крестьянской среды и тоже обличал общественную неправду. Но взор пророка был устремлен вперед. Он видел в истории не только периоды регресса, но и высшую целенаправленность. Греческий же поэт весь обращен в прошлое: для него самое прекрасное, что было на земле, покоится в могилах. И это естественно, ибо где он мог черпать вдохновение для иного взгляда на жизнь? На кого было уповать? На закон Дике? Но откуда исходил этот закон? Если с Олимпа, то почему же царь богов проявлял столько зависти и мстительной злобы? Старые божества землепашцев, к которым тяготел Гесиод, были едва ли намного надежнее. Ведь Музы же признались Гесиоду, что они говорят людям правду или ложь в зависимости от своей собственной прихоти. Иначе и быть не могло: они по природе своей столь же капризны и переменчивы, как облака над Геликоном. Трудно надеяться найти у них настоящую правду.

Так, блуждая где-то между магизмом прадедовских культов, властным Олимпом и непреодолимой жаждой справедливости, Гесиод навсегда остался в замкнутом круге противоречий, жалуясь на судьбу, забросившую его во тьму железного века.

## Глава вторая

### Очеловеченные боги. Спарта и Афины, VIII–VI вв. до н. э

*Друзьям в беде помочь бессильны боги.*  
*Еврипид*

В то время как сельские жители с недоверием и даже враждебностью встречали рост городской цивилизации, для самих горожан новые условия открывали перспективы дотоле неведомые и желанные. Менялся весь их жизненный уклад, причем на ход этих перемен воля вождей, политиков и реформаторов оказывала теперь куда большее влияние, чем тысячелетние традиции. Греция вступала на путь социальных экспериментов.

Власть монарха, который вел свою родословную от богов, отступала перед попытками *рационального устройства общества*. И с самого начала эти попытки приняли два направления: одно было связано с дорийской Спартой, а другое – с Афинами, населенными племенем ионийцев.

В Спарте все было словно решено раз и навсегда. Порядок, установленный легендарным Ликургом при поддержке вооруженных отрядов, процветал под девизом: «Побеждать и повиноваться». Как дисциплинированный воин не должен обсуждать приказов, так и рядовой спартанец был обязан беспрекословно чтить единый устав государства: он принадлежал не себе, а обществу.

Спартанцы горделиво именовали себя «общиной равных», ибо все, кроме остатков старого населения – илотов, обладали одинаковыми правами в полисе. Однако обязанностей у спартанцев было неизмеримо больше, чем прав.

Воспитанием граждан занималось государство, представленное Верховным Советом – Герусией. Власти решали даже вопрос о жизни и смерти новорожденного ребенка: если он казался слабым – его уничтожали. Подростков приучали к тяготам походной жизни и лишениям, испытывали их храбрость в драках, заставляли шпионить друг за другом и доносить.

Спарта походила на военный лагерь: стол – общий, одежда однообразная. Обычай общественного питания мотивировался тем соображением, что для человека лучше, если он будет как можно больше находиться на глазах у всех.

Постоянная муштра избавляла граждан от необходимости ломать голову над мировыми вопросами. Им прививали жестокость, ненависть к чужакам, готовность отдать жизнь за родину.

Это была первая в истории попытка решить проблему организации общества в духе «закрытого» режима. Спарта освободилась от политических распрей, и поэтому другие полисы, уставшие от них, иной раз с завистью смотрели на образцовый порядок дорийцев.

Но политическая стабильность была куплена дорогой ценой. В культурном отношении Спарта в конце концов оказалась пустоцветом. Она прославилась в основном лишь боевыми песнями и гражданскими стихами, оставив будущим поколениям пугающий пример общества, где государство поставлено над человеком.



Античная монета с изображением Афины

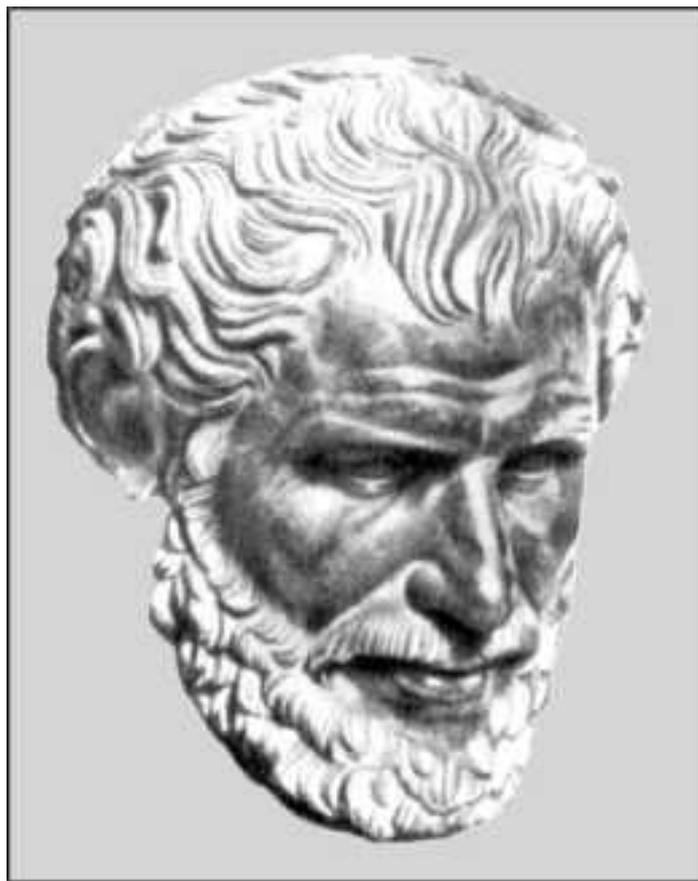
Если бы тот, кому довелось побывать в Спарте, посетил Афины, его прежде всего поразил бы психологический контраст между этими полисами. Воспитанники военизированного строя отличались угрюмым нравом; говорили, что от них услышать слово труднее, чем от статуи, а когда они нарушали молчание, речь их была кратка, как армейская команда.

В Афинах же все было наоборот: город кипел политическими страстями, на площади не утихали споры, болтовня, остроты и смех. Экспансивные, жадные до новинок, увлекающиеся модами и сенсациями, влюбленные в свободу, ионийцы были той средой, где закладывались светские основы европейской цивилизации. Книги греческих авторов, повествующие об Афинах тех времен, пестрят терминами «демагог», «тирания», «демократия» и другими, которые, пусть в несколько ином смысле, стали ходячими в новое время. Свобода выражения мыслей не была абсолютной, но она не шла ни в какое сравнение со спартанскими строгостями.

Если в Спарте человека дрессировали с пеленок, готовя на службу государству, то в Афинах признавалось законным, что интересы народа могут оказаться в противоречии с интересами властей.

Здесь, в Аттике, граждане впервые заявили о своем праве решать судьбу отечества и утверждать формы правления. На историческую арену выступила вся совокупность свободного населения – *демос*.

Десятки лет шла борьба между демосом и аристократией, пока в 594 году правителем Афин не был избран *Солон*. Мудрец, поэт и гениальный политик, он сумел не только установить равновесие между враждебными партиями, но и провести ряд важных преобразований. Отменил долговое рабство – этот бич древнего мира, с которым в те же годы, что и Солон, воевал пророк Иеремия. По его настоянию выкупили проданных на чужбину афинян, ввели ограничение на владение землей, узаконили суд присяжных. Но главное достижение Солона – это внедренные им принципы демократического правления. Аристотель верно определил их сущность, говоря, что Солон отнюдь не просто отдал всю власть в руки толпы, но «имел в виду дать народу только самую необходимую силу – именно избирать и контролировать должностных лиц: без этих прав народ был бы в положении раба и настоящим врагом правительства».



Солон

После ухода Солона от дел и новой полосы смут в 509 году была окончательно установлена демократическая конституция. Правитель Клисфен ввел тайное голосование, так называемый «остракизм».

Трудно переоценить значение этого переворота. Ведь в иерархическом обществе во многом действуют еще законы животного мира. Прежде считали, что стая есть нечто хаотическое, однако теперь установлено, что в ней существуют строго очерченные градации, подчинение и своеобразный «вождизм». Поэтому не будет преувеличением сказать, что демократия, наряду с искусством, религией и наукой, является одной из подлинно человеческих черт общества.

Говоря так, не следует, впрочем, забывать, что речь идет не об «идеальной» форме правления (подобная форма может быть образована лишь идеальными людьми), но – о наилучшей из возможных структур, которая менее всего подавляет свободу личности. И создателями основ этой структуры были афинские реформаторы, безусловно заслуживающие одно из первых мест среди героев истории.

\* \* \*

На фоне успехов афинян в сфере социальной особенно поражает картина их религиозной жизни: здесь этот талантливый народ обнаруживает консерватизм и беспомощность, как будто бы весь его творческий потенциал был израсходован на «светские» области.

Почти единственными скрижалями веры для жителей полисов в то время по-прежнему оставались поэмы Гомера. Объясняется это не только привязанностью греков к национальному прошлому. В эпоху колонизации и политических движений, приведших к созданию новых общественных систем, вновь возродился угасший было дух мужества и героики. Поэтому глав-

ная тенденция «гомеровской» религии – *очеловечивание богов*— находила живейший отклик среди горожан<sup>12</sup>.

Однако вскоре этот культ человеческого начала начинает тормозить движение греческой религии к более высоким ступеням; она оказывается уже не в состоянии подняться над простым антропоморфизмом. Боги застывают в том виде, как их канонизировали Гомер и Гесиод. То, что некогда одухотворяло богов, теперь замкнуло их в тесные рамки несовершенной человеческой природы. Бессмертие, поддерживаемое волшебным напитком, и необоримая сила олимпийских великанов являлись лишь чисто внешними признаками, отличающими богов от людей.

Процесс сближения между двумя мирами – Олимпом и родом смертных – прослеживается и в религиозном искусстве Греции VII и V веков.

Появившиеся в начале этого периода храмы сооружались по образцу жилищ и обычно отличались не слишком большими размерами. Это не случайно: строя их, греки в первую очередь хотели предоставить Зевсу и Посейдону «дом» в пределах своего города. Так, согласно эсхилловской «Орестее», народ, пытаясь смягчить гнев Эриний, обещает соорудить им жилища-храмы в Афинах.

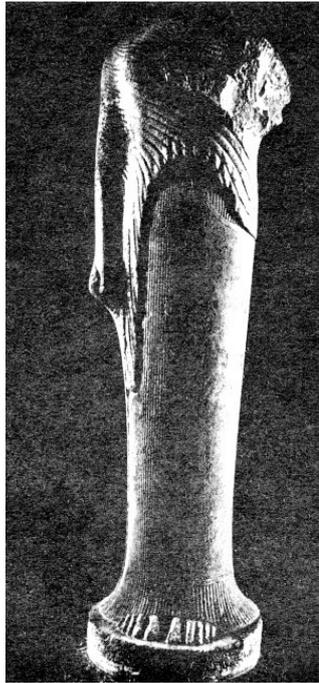
Возводя «обиталища» для богов, греки надеялись сделать бессмертных своими согражданами, покровителями полиса.

Здесь нетрудно заметить нечто родственное вере Израиля, который видел в Иерусалимском храме знак присутствия Божия. Но в то время как близость святыни усиливала в ветхозаветном человеке чувство трепета и благоговения, для грека вселение бога в храм было одним из средств очеловечения его. Разумеется, античное святилище тоже было окружено ореолом тайны, но в большей степени оно знаменовало «приручение» грозного Олимпийца, почти насильственное удержание его в полисе. Бывали даже случаи, когда статуи приковывали цепями, чтобы помешать богу покинуть свое жилище.

Эта же тенденция к стиранию границ божественного и человеческого наметилась и в культовых изображениях. Если от старых, примитивных идолов веяло чем-то загадочным, сверхъестественным, то в дальнейшем мы видим образы все более земные, доступные, человеческие. Путь этот завершился в стиле «высокой классики» V и IV веков.

Когда-то один французский писатель назвал классические статуи «истинными богами и богинями», но на самом деле они по существу перестали уже быть богами, а превратились в идеализированных людей. И, пожалуй, именно этого добивались греческие мастера, следуя духу «гомеровской» религии.

Божество, изваянное из камня, наделенное прекрасным земным ликом, живущее в собственном доме, мыслилось в значительной степени как друг, защитник и сосед грека. Олимп и город оказались рядом; ведь недаром мифы постоянно говорили о любви и браках между бессмертными и людьми.



Гера с о. Самос

Параллельно с этим умалением идеи Божественного возрастал и культовый хаос, ибо каждый городок и каждая местность хотели иметь «своих» богов. Даже в одной семье могли быть поклонники разных культов. Нередко провозглашались и новые божества: удача или несчастье, памятное событие или непонятное явление природы – все это легко пополняло и без того уже обширный пантеон. Многие почитаемые боги пришли в Грецию из Азии и с Крита, в первую очередь Артемида, Деметра, Аполлон.

Любопытно, что с ними, особенно с Аполлоном, связана противоположная тенденция, хотя и слабо выраженная. Восточные боги не так легко поддавались очеловечению. Некогда культ хеттского божества Апулунаса распространился по Малоазийскому побережью; в «Илиаде» это Аполлон, поборник Трои. Впоследствии центром его почитания в Греции стало уединенное горное святилище – *Дельфы*.



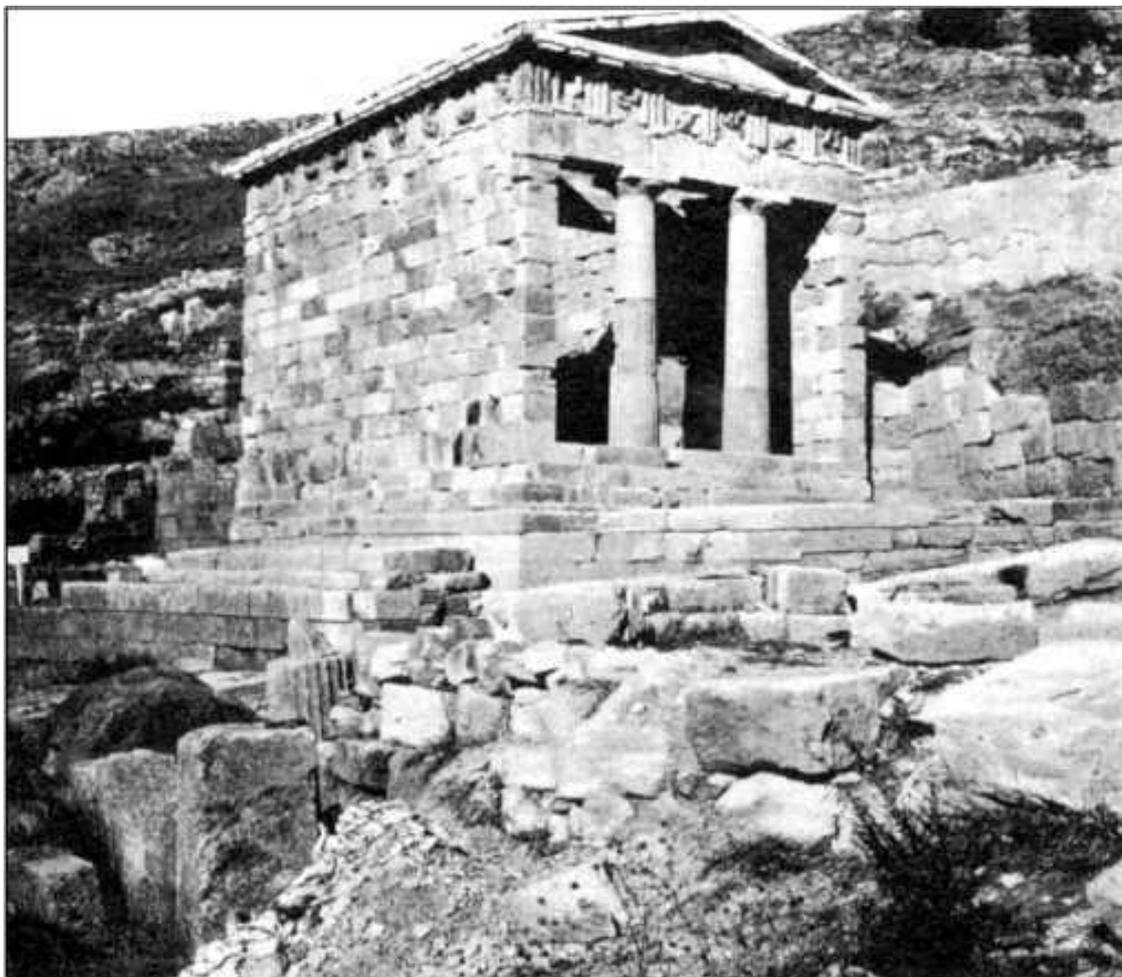
Развалины святилища Афины Пронаии в Дельфах

Гомер вкладывает в уста Аполлона слова, осуждающие попытки сближения богов и людей:

Гордый Тидид! Никогда меж собою не будет подобно  
Племя бессмертных богов и по праху влачащихся  
смертных!<sup>13</sup>

Дельфийский оракул по самой природе своей был защищен покровом тайны. Пифия прорицала там в состоянии исступления.

Жрецы Дельф хотели сделать оракула средоточием общегреческих верований. Спартанцы, афиняне, ионийцы из Азии – все с трепетом поднимались к дельфийским храмам. Сребролукий бог почитался как существо, властное освободить от ритуальных осквернений и кровной мести.



Сокровищница афинян в Дельфах

Но в конце концов и Аполлон не избежал общей участи Олимпийцев. Объявленный богом гармонии и искусства, он также спустился из заоблачных высей и стал олицетворением земной красоты.

При всем своем влиянии Дельфы не смогли занять места, к которому стремились. Жрецы Аполлона не выработали цельного религиозно-нравственного учения, которое могло бы возвысить их над другими духовными центрами; к тому же они сильно подорвали свой авторитет участием в темных политических интригах.

\* \* \*

Для жителей Аттики в полном смысле слова «своей» богиней была Афина-Паллада – покровительница войны и мудрости. Это суровое гражданское божество, чем-то напоминающее ассирийскую Иштар, являлось скорее символом государства, чем предметом религиозного

благоговения. Любовь к ней означала любовь к отчизне. Высшим делом благочестия в отношении к Палладе (как, впрочем, и к другим Олимпийцам) являлось участие в общественном культе и праздниках. Полагали, что богиня радуется им, и поэтому народ не скупился на парадные торжества, игры и состязания в честь своей покровительницы. Ей слагали торжественные гимны:

Славить Палладу-Афину, оплот городов, начинаю  
Страшную. Любит она, как и Арес, военное дело:  
Яростный воинов крик, городов разрушение и войны.  
Ею хранится народ, на сражение ль идет, иль с сраженья.  
Славься, богиня! Пошли благоденствие нам и удачу!<sup>14</sup>

Однако любая гражданская религия, лишенная интимной связи с верующей душой, как правило, суха и лубочна. У людей с богатым внутренним миром она нередко вызывает если не отвращение, то по крайней мере равнодушие. Культ городских богов рано стал превращаться в общественную повинность, а там, где в религии торжествует форма, она обречена на вырождение.

При этом казенному благочестию сопутствовал, как это нередко бывает, государственный фанатизм. Греция стала одной из первых стран, где начали гнать инакомыслящих. Преследованиям за оскорбление богов подвергались, как мы увидим, Анаксагор и Протагор, Сократ и Аристотель. Величайшим грехом считалось пренебрежение внешним культом или покушение на культовое имущество. Убеждение, что жертвой можно искупить любой проступок, способствовало, по мнению Платона, порче нравов.

Много говорилось и писалось о выхолощенности поздней религии римлян, но по справедливости нужно сказать, что прообраз этого омертвления существовал уже в эллинском полисе. Никакие политические страсти, состязания певцов или спорт не могли заполнить духовный вакуум, тем более что на смену массовой родовой психологии шло возраставшее самосознание личности. Человек уже переставал видеть себя только звеном гражданского целого. Власть общества и традиции начинали тяготить его.

Духом протеста и негативизма проникнута поэзия Архилоха (VI в.), который любил поднимать на смех почтенных людей города и привычные условности. Считалось, например, позорным потерять свой щит в битве. Но Архилоха это совсем не тревожило: «Сам я кончины зато избежал, и пускай пропадает щит мой». В дни всеобщего траура по погибшим согражданам он во всеуслышание заявляет: «Я ничего не поправлю слезами, а хуже не будет, если не стану бежать сладких утех и пиров».

Народные верования мало привлекали людей столь независимых, и хотя на словах они чтили богов, зачастую это была пустая формальность. Слишком земные, слишком понятные, боги оказывались существами почти того же порядка, что и смертные. Между тем люди не могут долго довольствоваться идеалом, который *не возвышается* над уровнем человеческого. То, перед чем человек может склониться, не унижая своего достоинства, должно превосходить его, а этого нельзя было сказать о гомеровских богах. Поэтому естественно, что взор мыслящих греков все чаще силился проникнуть в таинственные небеса поверх Олимпа. Но что они могли найти там?

Из поэм Гомера им было известно, что боги бессильны перед решениями Судьбы, а следовательно, правит миром она. Вселенная же, таким образом, являет собой как бы систему всеобщей зависимости. Раб подчинен человеку-господину, человек – игрушка богов, боги подвластны Судьбе. Удел человека – рабство не только внешнее, но и духовное, ибо он предстоит богам не с чувством смирения, а скорее как невольник. Смирение рождается из веры в благодать высших сил, между тем никаких признаков благодати Мойры у Гомера нельзя было найти. Ее

предначертания – лишь прихоть, не имеющая цели и смысла: они превращают мир и человека в абсурд.

Феогнид с упреком вопрошает Зевса:

Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы  
Участь имели одну с теми, кто правду блюдет?

И со вздохом отвечает сам себе:

В жизни бессмертными нам ничего не указано точно,  
И неизвестен нам путь, как божеству угодить<sup>15</sup>.

Напрасно люди радуются своим победам над природой – от власти Рока они все равно не смогут уйти. Не старался ли отец Эдипа, получив предсказание, избежать гибели? И он, и сам Эдип, победитель Сфинкса, оказались повержены.

Но если такова участь земнородных, то какой смысл просить у богов счастья? Оно вообще пустая греза.

За красочными картинами гомеровского эпоса скрывается глубоко запрятанная мысль об обреченности людей и народов. Оборона Трои бесполезна – ее жребий предопределен; Ахиллес знает о неизбежности своей ранней гибели, Одиссей – об участи своих товарищей. И что удивительного, если у певца, прославляющего могучих витязей, внезапно вырывается скорбное восклицание:

Меж существами земными, которые дышат и ходят,  
Истинно в целой Вселенной несчастнее нет человека!

В VII столетии поэт Мимнерм Колофонский продолжает эту линию гомеровского пессимизма, оплакивая быстротечную людскую долю:

Мы ж точно листьев краса, что рождает весны многоцветной  
Время, когда над землей солнца теплее лучи.  
Да, точно листьев краса, наслаждаемся юности цветом  
Недолговечным: от нас скрыли и зла, и добра знание боги<sup>16</sup>.

Столь же печально смотрит на жизнь другой греческий поэт, Семонид с о. Самос:

Наш быстролетен день,  
Как день цветка, и мы в неведение живем:  
Чей час приблизил бог, как жизнь он пресечет.  
Но легковерная надежда всех живит,  
Напрасно преданных несбыточной мечте...  
Все беды налицо – но керам<sup>3</sup> нет числа,  
И смертных горести ни выразить, ни счастье<sup>17</sup>.

Феогнид воскрешает древнее сказание о Силене, который объявил человеку, в чем для него высшее благо:

---

<sup>3</sup> Керы – богини Судьбы, посылающие беды.

Лучшая доля для смертных – на свет никогда  
не родиться  
И никогда не видеть яркого солнца лучей.  
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида  
И глубоко под землей в темной могиле лежать<sup>18</sup>.

Даже поэт Анакреонт, стяжавший славу своими игривыми стихами, неожиданно как бы проговаривается:

Умереть бы мне! Не вижу никакого  
Я другого избавленья от страданий!<sup>19</sup>

Так, подобно индийцам в эпоху расцвета аскетического движения, греки пришли к мысли о том, что земная жизнь – это долина скорби.

Однако, в отличие от Индии, Греция не сразу отвернулась от преходящего для того, чтобы искать истину в царстве Духа. Эллинское сознание поначалу пыталось найти путь *возврата к природе*, надеясь вернуть утраченную гармонию и равновесие. Это выразилось в культуре чувственности и обращении к природной мистике.

Многие в это время стали искать забвения в мимолетных радостях и бездумных наслаждениях. Иным казалось, что здесь нет лучшего помощника, чем вино. Старый аристократ Алкей с о. Лесбос, устав от бесплодной политической борьбы, провозглашает:

К чему раздумьем сердце омрачать, друзья?  
Предотвратим ли думой грядущее?  
Вино – из всех лекарств лекарство  
Против унынья. Напьемся ж пьяны!<sup>20</sup>

Так же и Феогниду панацеей от всех печалей представляется опьянение:

Скоро за чашей вина забывается горькая бедность,  
И не тревожат меня злые наветы врагов.

Другим способом приобщения к «естественности» была эротика. «Фиалкокудрая, с улыбкой нежной» Сафо – знаменитая поэтесса Лесбоса – окружает себя семьей прекрасных подруг, с которыми предается изощренной игре чувств. Ее кружок – своего рода убежище любви, где девушки, скрывшись от жестокого мира, создавали себе иллюзию особой, исполненной красоты жизни. Сафо послушна «горько-сладостному необоримому змею». «От страсти я безумствую», – говорит она. Ароматный чад любви-муки, казалось, помогал забыть опостылевшие будни. Любовь, любовь – во всех видах и обличьях, лишь бы найти восторг и экстаз, пусть мгновенные! Нужно самозабвенно раствориться в природе и страсти. Погоня за «естественностью» оборачивалась противоестественным: Сафо воспевает своих девушек, Анакреонт – юношей; зарождается болезненное отчуждение полов, которое оказало роковое влияние на эллинский мир.

Этому способствовало и то, что в Афинах женщины составляли целый класс людей, живших под тяжким гнетом. Они были как бы частью домашнего инвентаря, служанками, отстраненными от всех интересов мужчин. Женщину лишали образования, ограничивали ее участие даже в общественном культе и развлечениях. Живя в атмосфере демократического строя

города, она не могла не тяготиться уродством своего положения. Поэтому не случайно, что женщины вскоре оказались наиболее рьяными поклонницами новых культов, открывших им свои двери и внесших оживление в их тусклое существование.

Еще унизительней была доля рабов. Прошли ахейские времена, когда невольник был почти домочадцем. Теперь раба вообще не считали за человека. Даже Платон полагал, что «в душе раба нет ничего здорового». Рабов, как скот, называли кличками, причем каждый хозяин менял их. Детей рабов нередко убивали или оскотивали.

Таким образом, прогресс демократии не коснулся значительной части общества, а примитивный уровень религии не позволял ей утолить духовный голод людей.

Чем меньше приходилось человеку бороться за хлеб насущный, тем острее ощущал он пустоту своей жизни, ее бесцельность и обреченность. Египтяне и индийцы преодолевали подобные кризисы благодаря вере в бессмертие. Гомеровская же религия, говоря о страшной преисподней, ожидавшей людей за гробом, внушала лишь тоску и ужас. Какое-то время патристический энтузиазм гражданского культа еще мог вдохновлять грека, питаясь чувством коллективной солидарности. Однако перед лицом смерти человек переставал быть членом общества и народа: смерть настигала его *самого*, и он, лишенный всех социальных оболочек, оказывался нагим и беспомощным у края пропасти. Минуту назад Патрокл был царем, непобедимым героем, внушавшим трепет, но вот – удар, и жалкая тень, сетуя и плача, уносится в темную пасть Аида... Лишь глубоко скрытый, непобедимый инстинкт подсказывал людям, что есть какая-то неведомая возможность иного исхода:

Людам одно божество благое осталось— Надежда.  
Прочие все на Олимп, смертных покинув, ушли<sup>21</sup>.

Источником этой надежды оставался для греков опять-таки природный мир.

## Глава третья

### Мистерии Элевсина. Аттика, VII–VI вв. до н. э

*В мистериях есть предугадание истины.  
Климент Александрийский*

С незапамятных времен чудо пробуждающейся весенней земли волновало человека, заставляя его задумываться над загадками мира. Засыхала трава, падал созревший колос, но каждый год оказывалось, что смерть природы лишь сон. Дремавшее в почве мертвое семя выходило навстречу солнцу в виде ростка, вновь луга и склоны одевала молодая зелень. В этом люди видели проявление извечного космического круговорота, в котором созидательные силы, сраженные полчищами тьмы, возрождаются и торжествуют.

Неистребимость жизни воспринималась как весть о бессмертии, как обетование Природы, в которой заключен залог вечного существования и для человека. Поэтому древние упорно стремились разгадать эту тайну, овладеть бессмертием или приобщиться к нему. Одетые в траур, они погребали Осириса, Ваала, Таммуза, Атгиса осенью и с ликованием встречали их пробуждение от смертного сна весной<sup>22</sup>.

В Грецию этот распространенный культ воскресающей природы проник, вероятно, с Крита, где он был связан с религией Богини-Матери. Около VII в. до н. э. мы уже застаем его в городке *Элевсине*, расположенном недалеко от Афин.

Гомеровские гимны содержат намек на критское происхождение Элевсинского культа. Там мы находим миф, повествующий о его начале.

Некогда в городе появилась старая женщина с Крита, по имени Доя. Она рассказывала, что много странствовала по миру и чудом спаслась от гибели. Пораженный необычным видом и мудростью Дои, царь Элевсина отдал ей на воспитание своего сына.

Однажды ночью мать подглядела, как пришелица погружает мальчика в огонь. На отчаянные вопли и укоры царицы таинственная женщина ответила гордыми словами: «Жалкие, глупые люди!» Оказалось, что ребенок мог получить из рук Дои бессмертие, но теперь это уже невозможно.

В то же мгновение по дому царя разлилось сладостное благоухание, тело странницы засветилось, стены озарило ослепительное сияние. Вместо старухи перед изумленными элевсинцами предстала прекрасная богиня. То была *Деметра* — могущественная владычица нив и цветов<sup>23</sup>.

Она рассказала людям свою историю. Возлюбленная ее дочь Кора играла однажды на цветущем лугу среди фиалок и шафранов. Внезапно разверзлась земля, и колесница властителя преисподней Аида унесла трепещущую деву в подземное царство. Плененный красотой Кору, Аид захотел сделать ее своей женой. Но ему не удалось сохранить похищение в тайне. Прежде чем разверзшаяся земля успела сомкнуться над Корой, она издала жалобный крик.

Ахнули тяжко от вопля бессмертного темные бездны  
Моря и горные главы. И вопль этот мать услышала.  
Горе безмерное остро пронзило смущенное сердце.  
Разодрала на бессмертных она волосах покрывало,  
Сбросила с плеч сине-черный свой плащ  
и на поиски девы  
Быстро вперед устремилась по суше и влажному морю,  
Как легкокрылая птица. Но правды поведать никто ей

Не захотел ни из вечных богов,  
ни из смертнорожденных,  
И ни одна к ней из птиц не явилась с правдивою  
вестью<sup>24</sup>.

Девять дней скиталась по земле Деметра, освещая факелами все закоулки, но нигде не находила следов дочери. И лишь на десятый день она узнала от богини Гекаты, какая судьба постигла деву. Гнев и печаль Деметры не имели границ; она приняла образ старухи и явилась к людям в Элевсин.



Голова богини

Узнанная там, она продолжала скорбеть. Отказываясь вернуться в сонм богов, она сидела в Элевсинском храме и проливала слезы. Тем временем «грозный, ужаснейший год низошел на кормилицу-землю». Напрасно быки тащили плуги по пашням, а сеятели бросали в почву семена: земля не давала всходов, печаль богини поразила ее бесплодием. Людям угрожала голодная смерть.

Это встревожило Зевса, при попустительстве которого совершилось похищение Кору. В преисподнюю был послан Гермес сообщить Аиду, что Деметра замышляет

Слабое племя людей земнородных вконец  
уничтожить,  
Скрывши в земле семена, и лишить олимпийцев  
бессмертных  
Почестей...<sup>25</sup>

Опасность нарушения магической связи между людьми и богами принудила Аида задуматься. В конце концов он согласился на время отпускать молодую супругу к матери, но с тем, чтобы часть года она всегда проводила у него.

Деметра согласилась на это компромиссное решение и, научив элевсинцев тайным обрядам, вернулась к богам. С тех пор, пока Кора гостит у Аида, Деметра погружается в печаль, наступает зима, а когда она возвращается к матери, нивы вновь зеленеют.

Этот миф поразительно напоминает сказания о скорби Исиды и о нисхождении богини Иштар в преисподнюю. Был ли то странствующий сюжет или критяне и греки сложили свою версию независимо от Востока – сказать трудно, но сейчас для нас важно другое. Культ Деметры ознаменовал возвращение к *хтоническим*, подземным, божествам, сама природа которых связана с тайнами плодородия, жизни и смерти.

Почитание Деметры утвердилось не только в Элевсине, но постепенно распространилось и в других областях Греции. Вплоть до появления христианства элевсинские ритуалы привлекали очень многих. Поразительно, что они в каком-то смысле пережили все остальные греческие культы. Даже в XIX в. крестьяне Элевсина ставили в центре гумна изваяние Деметры, а когда его увезли в музей, жаловались на ухудшение урожая<sup>26</sup>.



Деметра, Кора и Триптолем

Чем же объяснить столь прочное влияние этой архаической религии? Что могли греки, нередко иронизировавшие над своими богами, найти в древнем мифе о Деметре, Аиде и Коре? Ответ на этот вопрос может быть лишь один: хтонические боги – властители сокровенных глубин земли, где обитают тени усопших, – связывались с самыми важными сторонами человеческого бытия. Их религия обещала людям не только земное благополучие, но и вечную жизнь, *бессмертие*. Это давало ей огромное преимущество перед гражданским культом<sup>27</sup>.

Обряды, сопровождавшие поклонение Деметре, приобрели характер таинственных священнодействий, *мистерий*, подобных тем, какие были известны еще у древнейших народов. В основе подобных действий лежали пантомимы, изображавшие мифическую историю богов и героев. Созерцание мистерий, как полагали, устанавливало магическую связь между людьми и высшими существами.

Благоговение перед тайной, превышающей обыденный разум, – неотъемлемая черта религии. Чувство встречи со сверхчеловеческим, священным, скрытым от взоров профана, делало элевсинские мистерии предметом глубокого и искреннего почитания. Насмешки греков, которые потрясли Олимп, смолкали у порога Элевсина.

Любой эллин, не запятанный преступлением, – мужчина, женщина и даже раб – мог приобщиться к мистериям Деметры<sup>28</sup>. Наконец-то перед всеми париями общества открывался путь к духовным радостям и вечности! Тому, кто проходил посвящение, было обещано избавление от рокового Аида:

Счастливы те из людей земнородных, кто таинство  
видел,  
Тот же, кто им непричастен, по смерти не будет вовеки  
Доли подобной иметь в многосумрачном царстве  
подземном<sup>29</sup>.

Деметра владела тем, чего не имели другие боги, – таинственной мощью возрождения природы и силой бессмертия. Неудивительно поэтому, что к Элевсину устремилось так много почитателей великой богини. Приютившееся у залива на фоне гор, среди сосен и кипарисов, святилище было окружено постоянной заботой афинян. Сюда приходили сотни паломников, чтобы ощутить близость божественных сил.

Здесь все было овеяно древней тайной: казалось, богиня все еще скитается где-то среди окрестных рощ. В городке показывали дом, где она жила; камень, на котором, по преданию, она сидела, оплакивая Кору; место, где дева была увлечена в преисподнюю. Сама почва Элевсина представлялась лишь тонкой преградой, отделяющей обычный мир от загадочной глубины недр.

Праздники элевсинских мистерий начинались обычно в Афинах<sup>30</sup>. Иерофант и архонт возвещали их начало, напоминая о том, что варвары и преступники не должны в них участвовать. Вслед за тем толпы шли на море омыться в волнах, которым приписывалась очистительная сила. Оттуда паломники направлялись в торжественной процессии к священному городу. Они несли изваяния хтонических богов, пели гимны, совершали жертвоприношения. Двадцать километров, отделявших Афины от священного города, проходили медленно, одни пешком, другие верхом, и только к ночи достигали Элевсина.

Жрецы Деметры ревниво охраняли свои тайны. Тот, кто вступал на путь посвящения, давал страшные клятвы молчания. Горе непосвященному, который кощунственно проникал на богослужение. Тот из мистов, кто разглашал секреты Элевсина, считался святотатцем.

Готовящиеся к посвящению носили красные повязки, и чтобы не дать проникнуть на праздник чужим, иерофанты имели списки будущих мистов.

По прибытии в Элевсин люди с факелами разбредались по холмам, как бы принимая участие в поисках Кору, и лишь после этого они проходили искус, предваряющий мистерии.

Посвящаемый должен был быть чист от крови и чист ритуально; ему вменялся в обязанности ряд пищевых запретов: воздержание от рыбы, бобов, яблок.

Перед храмом еще раз приносились жертвы, и наконец ночью в полном молчании посвящаемые вступали в храм.

Под темными сводами разыгрывалась сакральная драма, люди шли тесными проходами, слышали завывания и зловещие голоса, видели фигуры чудовищ и вспышки молний. То был символ мытарств души, проходящей загробное очищение. Все то, что суждено было испытать человеку в царстве Аида, он переживал во время священнодействия и через это получал избавление.

Но вот к утру, оставив наконец позади мрачные своды, участники обряда выходили на залитые солнцем лужайки; звучали песни и восклицания, в пляске кружились мисты среди убранных цветами статуй богов и богинь. Эта сцена изображена у Аристофана:

Потом тебя дыханье флейт обвеет,  
Увидишь свет прекрасный, как земной.  
Там рощи мирт, мужчин и женщин хоры  
И радостных рукоплесканий звук<sup>31</sup>.

Такова была картина перехода в царство бессмертия: Аид оставался позади навсегда.

Мистериальная драма должна была глубоко потрясать душу зрителей. В ней заключалось нечто в высшей степени созвучное греку: образ. Элевсин проложил особый путь для приобщения к вере. Воздействие оказывалось не на рассудок, а на все существо человека. Обряды Деметры назывались *теамата* — «зрелище», ибо то был священный театр, который очищал и возвышал человека, давал ему сопереживание божественной жизни.

Центральным моментом мистерий, высшей ступенью посвящения было созерцание символов. О нем мы фактически ничего не знаем, потому что его тщательнее всего скрывали. Но есть указания, что иерофант – служитель Деметры – выносил перед посвященными колос. Возможно, то был знак бессмертной богини и считалось, что человек, чьи духовные очи открыты, узрит в колосе токи незримой силы. Дрожащее сияние, окружающее зерно, аура, которую может видеть лишь мист, есть свидетельство его связи с богиней.

\* \* \*

«Ничто не может сравниться, – писал французский историк Шарль Диль, – с чувством глубокого благоговения, которое испытывали к Элевсинским мистериям самые серьезные умы древнего мира, философы, государственные мужи, ораторы, историки и поэты. Начиная от Пиндара и до Платона, от Исократы и до Цицерона, все согласно признают, что мистерии глубоко влияли на души людей»<sup>32</sup>.

Некоторые историки считают, что Элевсинский культ был связан с определенным религиозно-нравственным учением, которое отвечало на запросы духа лучше, чем религия Олимпа<sup>33</sup>. Но даже если и так, остается несомненным, что в Элевсине явно превалировал обряд, а это всегда таит в себе опасность для религии. Нравственный и мистический элементы легко оттесняются на задний план, и форма оказывается самодовлеющей. Уже одно это препятствовало одухотворению культа Деметры.

Была еще причина, почему греческая религия не нашла в Элевсине высшего завершения. Мистерии Деметры претендовали на то, чтобы быть вестью о *спасении*; но эта весть сводилась лишь к обещанию лучшей участи *за гробом*. В земной же жизни человек, даже пройдя через посвящение, был все еще как стеной отделен от Божественного бытия.

Недаром мистерии назывались «зрелищами»; ведь они оставляли своих адептов, по существу, только зрителями, не давая полностью раскрыться религиозным переживаниям личности<sup>34</sup>. Священная драма, при всей своей воспитательной силе, не могла заменить непосред-

ственного причастия к Божественному. А ведь именно к этому стремится человек, ищущий спасения.

Почти одновременно с установлением мистерий Элевсина в Греции заявило о себе новое религиозное движение, которое, казалось, восполняло изъян, имеющийся в культе Деметры. Оно не только говорило о будущем, но сулило сразу же, «теперь и здесь», открыть путь к единению с Высшим.

## Глава четвертая

### Дионис. Европейская Греция, ок. 650–550 гг. до н. э

*О, бурь заслуживших не буди —  
Под ними хаос шевелится!..*

**Ф. Тютчев**

Эпоха, о которой мы рассказываем, была временем духовного брожения и появления начатков философской мысли во всем мире. У греков этот период ознаменовался тягой к мистическим культам. Человек, путешествующий тогда по Элладе, не мог бы не заметить, что повсюду происходит нечто странное и непонятное. Горные леса стали временами оглашаться пением и криками; то были толпы женщин, которые носились среди деревьев с распущенными волосами, одетые в звериные шкуры, с венками из плюща на головах; в руках у них были тирсы – палки, обвитые хмелем; они предавались исступленным пляскам под звуки первобытного оркестра: визжали флейты, звенели литавры, поднимался дурманящий дым от сжигаемых конопля и смолы...

Ночью колеблющийся свет факелов освещал фантастические картины шабаша. Полуголые девушки с остекленелым взглядом рвали зубами мясо трепещущих животных. На этих диких лесных празднествах женщины, слишком долго жившие взаперти и поработанные городом, брали реванш: насколько суровы были к ним общественные законы, настолько велик был энтузиазм их разнузданных радений. Едва раздавался призывный клич, как они переставали быть матерями, дочерьми, женами; они покидали свои очаги и прялки и с этого мгновения всецело принадлежали божеству производительной мощи природы – Дионису, или Вакху.

Религия Диониса прежде казалась настолько необъяснимой и чуждой «гомеровской» традиции, что эту главу в духовной истории греков предпочитали замалчивать или умять ее значение. Если вера в Олимп шла по пути очеловечения богов, то здесь, напротив, основной чертой было «расчеловечение» самих людей.

Теперь мы знаем, что Дионисова линия в истории греческого духа была очень сильной и оказала глубокое влияние на все эллинское сознание.

Греки любили повторять: «Мера, мера во всем». Но не являлось ли это частое обращение к «мере» намеком на то, что греки в чем-то побаивались самих себя? Не угадывали ли они в глубинах своей души наличие сил, совершенно противоположных разуму и порядку? Если бы греки действительно были чужды всему темному, безмерному, хаотическому – для чего бы тогда понадобилось столь настойчиво проповедовать меру?

Дионисизм показал, что под покровом здравого смысла и упорядоченной гражданской религии клочкотало пламя, готовое в любой момент вырваться наружу.

Примечательно, что женские оргии в честь Диониса не встречали в народе осуждения. Напротив, люди верили, что пляски вакханок принесут плодородие полям и виноградникам. В дни радений служительницы могущественного бога пользовались покровительством и уважением.

Ничто не могло остановить захлестнувшую Грецию волну дионисизма. В горной Аркадии и близ торгового Коринфа, в Аттике и Спарте – всюду вспыхивали новые очаги этой странной религии. Даже за пределы Эллады проник Дионис. У Еврипида он с гордостью говорит о своих победах:

И вместе грек там с варваром живет.

Всех закружил я в пляске вдохновенной  
И в таинства их посвятил свои,  
Чтоб быть мне явным божеством для смертных<sup>35</sup>.

До открытия Микенской культуры полагали, что Дионис – это чужеземный бог, который почитался у варваров и в один прекрасный день начал наступление на цивилизованную Элладу. Однако теперь установлено, что это мнение было ошибочным. Ахейские надписи свидетельствуют, что греки знали Диониса еще до Троянской войны.



Дионис. Рисунок с вазы

Происхождение этого культа, как и мистерий Деметры, теряется в доисторическом прошлом<sup>36</sup>. Корни его, несомненно, связаны с древнейшими обрядами плодородия. Возможно, дионисизм имел общие истоки с праарийским оргиастическим культом хмельного зелья – сомы, или хаомы. В историческое время имя Диониса связывали с виноградарством и виноделием. Он был объявлен также покровителем деревьев и стад. Но первоначально Дионис, вероятнее всего, был не кем иным, как старым критским божеством производящей силы. Все его поздние атрибуты: виноград, деревья, хлеб – вторичны. Главным же символом его был бык. Вакханки пели:

О, гряди, Дионис благой,  
В храм Элеи,  
В храм святой,

О, гряди в кругу хариты,  
Бешено ярый,  
С бычьей ногой,  
Добрый бык,  
Добрый бык!

Некоторое время центром почитания Диониса оставалась Фракия – страна на рубеже нынешней Греции и Болгарии. Там возродился этот древний культ и около VI столетия стал распространяться по всей Элладе.

\* \* \*

Большинство городских и земледельческих религий ставило богопочитание в магическую зависимость от строгой системы ритуалов. Служение же Дионису, по определению Вяч. Иванова, было «психологическим состоянием по преимуществу»<sup>37</sup>. В нем грек находил то, чего ему недоставало в мистериях Элевсина: он был не только зрителем, но и сам сливался с потоком божественной жизни, в буйном экстазе включаясь в стихийные ритмы мироздания. Перед ним, казалось, открывались бездны, тайну которых не в силах выразить человеческая речь. Он стряхивал с себя путы повседневного, освобождался от общественных норм и здравого смысла. Опекун разума исчезала, человек как бы возвращался в царство бессловесных. Поэтому Дионис почитался и божеством безумия. Ведь он сам – олицетворение иррациональной стихии, «безумствующий Вакх», как его называл Гомер. Согласно мифам, появление Диониса всегда влекло за собой помрачение рассудка. Человек, взявший на воспитание младенца Диониса, сходит с ума, эта же участь постигает троянского героя Эврипила, едва лишь он взглянул на Дионисов кумир<sup>38</sup>.

Приверженец Диониса чувствовал себя снова, подобно своим далеким предкам, не сыном городской общины, а детищем Матери-Земли.

О, как ты счастлив, смертный,  
Если, в мире с богами,  
Таинства их познаешь ты,  
Если, на высях ликуя,  
Вакха восторгов чистых  
Душу исполнишь робкую<sup>39</sup>.

Дионисизм проповедовал слияние с природой, в котором человек всецело ей отдается. Когда пляска среди лесов и долин под звуки музыки приводила вакханта в состояние исступления, он купался в волнах космического восторга, его сердце билось в лад с целым миром. Тогда упоительным казался весь мир с его добром и злом, красотой и уродством.

Счастлив, если приобщен ты  
Оргий матери Кибелы;  
Если, тирсом потрясая,  
Плюща зеленью увенчан,  
В мире служишь Дионису<sup>40</sup>.

Все, что видит, слышит, осязает и обоняет человек, – проявления Диониса. Он разлит повсюду. Запах бойни и сонного труда, ледяные ветры и обессиливающий зной, нежные цветы

и отвратительный паук – во всем заключено божественное. Разум не может смириться с этим, он осуждает и одобряет, сортирует и выбирает. Но чего стоят его суждения, когда «священное безумие Вакха», вызванное опьяняющим танцем под голубым небом или ночью при свете звезд и огней, примиряет со всем! Исчезает различие между жизнью и смертью. Человек уже не чувствует себя оторванным от Вселенной, он отождествился с ней и значит – с Дионисом<sup>41</sup>.

Вакханки издают пронзительные крики, оглашают горы безумным смехом. Они убежали от привычной жизни, отвергли человеческую пищу, стали дикарями, животными. Все влечет их – и объятия первого встречного, и детеныши зверей, которых они кормят своим молоком.

О, как я люблю Диониса,  
Когда он один на горе  
От легкой дружины отстанет,  
В истоме на землю падет.  
Священной небридой одет он,  
Путь держит к фригийским горам;  
Он хищника жаждал услады:  
За свежей козлиною кровью  
Гонялся сейчас.  
Но чу! Прозвучало: «О, Вакх, эвоэ!»  
Млеко струится земля и вином, и нектаром пчелиным<sup>42</sup>.

Нет смерти, нет Судьбы, мгновение переживается как вечность. Нет города и его законов. Есть только неистовый водоворот, в котором кружатся небо и земля, листья деревьев и облака, камни и человеческое тело.

Оргии растекались по стране с силой настоящей психической эпидемии. Но хотя в них действительно было немало болезненного, в основе своей это явление было куда сложнее простого массового психоза или эротической патологии.

Как и в движениях средневековых флагеллантов<sup>4</sup>, мусульманских дервишей и мистического сектантства, здесь мы видим искаженные проявления жажды Божественного, неистребимой в человечестве. И чем меньше способны идеи века утолить ее, тем сильнее может оказаться взрыв. Когда душа не находит подлинно высокого, ее порывы могут принимать самые устрашающие и уродливые формы.

Это мы видим и в нашу эпоху, эпоху «сексуальной революции» и наркотиков.

Демонические силы, таящиеся в человеке, легко овладевают им, когда он бросается в водоворот экзальтации. Упоение бытием у поклонников Диониса нередко выливалось в упоение кровью и разрушением. Бывали случаи, когда женщины тащили в лес младенцев и там, носясь по горам, рвали их на куски или швыряли о камни. В их руках появлялась тогда сверхъестественная сила.

Один из героев Еврипида рисует такую картину вакханалии:

Они несут повсюду разрушенье:  
Я видел, как они, детей украв,  
Их на плечах несли, не подвязавши,  
И на землю не падали малютки.  
Все, что хотели, на руки они  
Могли поднять: ни меди, ни железа

---

<sup>4</sup> Флагелланты (бичующиеся) – аскеты, которые практиковали массовое самобичевание для умерщвления плоти и как знак покаяния. – *Прим. ред.*

Им тяжесть не противилась<sup>43</sup>.

В другом месте Еврипид рассказывает, как женщины напали на стадо и в одно мгновение оставили на его месте груды растерзанных трупов.

Эти обезумевшие *менады* (от слова *мания* — безумие) не раз изображались греческими художниками и ваятелями. С запрокинутыми головами и блуждающим взором они пляшут, сжимая в руках змей, которые их не жалят.

Много веков спустя, в эпоху Ренессанса, когда пробудилась тяга к античному язычеству, темная дионисийская стихия приняла облик того явления, которое принято называть «ведовством». Тайные радения «ведьм» были не чем иным, как попыткой найти забвение в диких обрядах, подобных Дионисовым.

\* \* \*

Постепенно вакханалии превращались в серьезную общественную угрозу. Но греки их не запретили, как сделали римляне, а стремились упорядочить и смягчить служение Дионису. Легенда связывает это с именем прорицателя *Мелампа*, мудреца из древнего Пилоса<sup>44</sup>. Он повел планомерную борьбу против вакхических зверств: по его приказу отряды сильных юношей смешивались с толпами взбесившихся женщин и, танцуя вместе с ними, постепенно увлекали их в уединенные места, где их отрезвляли и успокаивали при помощи изготовленных Мелампом зелий.



Менада. Рисунок с вазы

Меламп, если он историческое лицо, жил, вероятно, еще до того, как дионисизм полонил всю Грецию. Он не отрицал священного характера экстаза менад, и те, кто потом следовал его примеру, лишь пытались оздоровить культ Диониса, очистив его от дикости и извращений. Время оргий ограничились, и наряду с ними были введены более спокойные и невинные праздники Диониса. Торжества эти сопровождались представлениями, которые, как думают, легли в основу греческой драмы<sup>45</sup>.

Буйное божество было введено в семью Олимпийцев. Его объявили сыном самого Зевса. Сложился миф, согласно которому супруга громовержца Гера, узнав о том, что он полюбил дочь кадмийского царя Семелу, пришла к сопернице и уговорила ее, чтобы та попросила Зевса явиться в своем подлинном облике. Неосторожный Зевс послушался Семелы, но одно прикосновение огненного существа превратило ее в горсть пепла. Только дитя, которое созревало у нее под сердцем, было сохранено чарами Матери-Земли. И Зевс принял его в себя.

Когда же приспел ему срок,  
Рогатого бога родил он,  
Из змей он венок ему сделал:

С той поры этой снедью звериной  
Обвивает менада чело<sup>46</sup>.

Новорожденного Диониса Зевс поручил нимфам:

Пышноволосяе нимфы вскормили младенца,  
принявши  
К груди своей от владыки-отца, и любовно в долинах  
Нимфы его воспитали. И волей родителя-Зевса  
Рос он в душистой пещере, причисленный к сонму  
бессмертных.  
После того как возрос он богинь попечением вечных,  
Вдаль устремился по логам лесным Дионис многопетый,  
Хмелем и лавром венчанный, вслед ему нимфы спешили,  
Он же их вел впереди. И гремел весь лес необъятный<sup>47</sup>.

Всюду, где появлялся молодой бог, его сопровождали взрывы энтузиазма и оргии. Возрастала его свита. Говорили, что его возлюбленной стала Ариадна – дочь критского царя Миноса, та самая, что помогла Тесею сразить Минотавра. Быть может, в этом – указание на критские корни культа Диониса.

В иерархии Олимпийцев Дионис был признан богом вина и веселья, а почитание его как бога плодородия впоследствии сплелось с культом Деметры<sup>48</sup>. В Элевсине чтили его изображение. Но главным событием в истории дионисизма явилось его сближение с культом Аполлона. Этим, как мы увидим, было положено основание коренному переосмыслению и преобразованию религии Вакха.

\* \* \*

Оргиастическая мистика Диониса родилась из стремления найти в природе вечную жизнь и спасение. Но в конце концов она лишь низводила человека до уровня животного. Впрочем, и это не совсем верно. Полного возвращения к бессловесным для человека быть не может. То, что естественно для зверя, у людей нередко становится болезнью, безумством и извращением. Нам не дано безнаказанно отречься от разума, от совести, от духа. Человеку открыт лишь один естественный путь – путь к восхождению. Попытка же спуститься вниз, к чисто природным слоям бытия, несет лишь иллюзорное освобождение, повергая вслед за тем в мутный хаос беснования и распада.

Однако опыт дионисизма имел для Греции не только отрицательные последствия. Он яснее дал почувствовать человеку его двойственную природу. Едва лишь затухало пламя экстаза, на смену восторгам приходило тошнотворное чувство похмелья, горькое сознание своего бессилия. Казалось, будто на человека, в какой-то миг ощутившего радость свободы, надевали цепи; он вновь становился узником Судьбы, рабом Ананке – Необходимости. Когда радения сменились праздниками, этот контраст не исчез. И именно опыт слияния с Целым и последующего падения во тьму бессилия был осмыслен в первом греческом религиозном учении – орфизме.

## Глава пятая

### Орфическая теософия. Афины, ок. VI в. до н. э

*И Зевс, и Аид, и Солнце, и Дионис – едины.  
Изречение орфиков*

Первые христиане любили изображать на стенах катакомб прекрасного юношу, укрощающего диких зверей игрой на арфе. То был *Орфей* — легендарный провидец и музыкант, олицетворявший гармонию Божественного духа, перед которой стихает мятеж темных сил. К этому певцу возводили орфики начало своего движения. Орфей – поклонник Аполлона, «водителя муз», и учение его явилось как результат облагораживающего влияния на дионисизм Аполлоновой религии.

Легенды утверждают, что пророк был выходцем из Фракии (откуда пришел и Дионис) и жил в ахейскую эпоху. Его связывали также с Элевсином и культом страшной ночной богини Гекаты. Говорили, что Орфей прославился волшебным даром, который получил от своей матери, музы Каллиопы. Его игра и пенье покоряли стихии; когда он путешествовал с аргонавтами, волны и ветер смирились, зачарованные дивной музыкой.

Об Орфее рассказывали, что, пытаясь вернуть на землю свою жену Эвридику, погибшую от укуса змеи, он спуускался в преисподнюю. И даже там его лира творила чудеса: чудовища закрывали свои пасти, успокаивались злобные Эринии, сам властитель Аида был покорен Орфеем. Он согласился отдать ему Эвридику, но с тем условием, чтобы певец шел впереди, не оглядываясь на нее. Но Орфей не мог преодолеть наплыва чувств и обернулся: Эвридика была увлечена в бездну, на этот раз навсегда.

Безутешный, скитался певец по земле, не находя покоя. Но вскоре и его самого настигла гибель. Во Фракии он встретил толпу безумствующих вакханок, которые в припадке исступления растерзали Орфея. Каллиопа со слезами собрала окровавленные клочья тела и погребла на вершине горы Пангея. Лишь голова певца вместе с его неразлучной лирой упала в море, и волны вынесли ее на остров Лесбос. Там она была помещена в расселине скал и изрекала пророчества<sup>49</sup>.

Все эти сказания напоминают уже знакомые нам мифы: здесь и вавилонский мотив схождения в преисподнюю, и образ скорбящей богини; Каллиопа играет в легенде роль Исиды, собиравшей клочья тела Осириса. Поэтому обычно считается, что история Орфея – лишь отражение тех дум о жизни и смерти, которые волновали греков в эпоху возникновения орфизма<sup>50</sup>.



Орфей. Рисунок с вазы

Тем не менее, как мы уже знаем, историческим ядром мифов не следует слишком пренебрегать. Не казались ли еще недавно война с И Лионом или Одиссеева страна лотофагов лишь сказкой?

Зарождение нового религиозного учения, как правило, связано с личностью основателя, и нет ничего невозможного в том, что человек по имени Орфей положил начало доктрине, связанной с его именем. На источник его идей указывает сам миф: он изображается почитателем и Аполлона, и Диониса. Умиротворяющий дар и гибель от рук вакханок, возможно, служат указанием на то, что Орфей, подобно Мелампу, пытался реформировать Дионисов культ<sup>51</sup>.

Кроме мифов, источником для знакомства с доктриной орфиков являются теогонические поэмы и так называемые «Орфические гимны». Последние, разумеется, не сложены самим певцом. Полагают, что первые их записи относятся к V в. до н. э., а в нынешней форме они не старше II в. до н. э. Однако, вероятнее всего, письменной форме предшествовала давняя устная традиция<sup>52</sup>.

\* \* \*

Древние называли Орфея «богословом», но к его учению более применим термин «теософия», ибо в основе орфизма лежит эклектическое сочетание различных мифов и поверий, оккультизма и мистики. Греки были уверены, что Орфей научился тайной мудрости в Египте<sup>53</sup>. Но и без этого, как мы увидим, близость орфизма к восточным идеям очевидна.

Он исходил из древнего общечеловеческого *дуализма*, противостояния света и тьмы, порядка и хаоса, который имеет у орфиков множество оттенков. Прежде всего это Аполлон и Дионис. Один из них олицетворяет единство и стройность, другой – многообразие и раздробленность. Точно так же диадой составляют женское, материнское естество и оплодотворяющая сила Диониса:

Два вещи в мире есть  
Для человека главные: Деметра  
– Или Земля, как хочешь называй —...  
Но не уступит ей Семелы сын<sup>54</sup>.

Но в то же время в орфизме сквозит и идея верховного Единства, хотя она носит еще вполне языческий характер. Это обожествленная стихия, предвечное мировое Лоно. В некоторых текстах оно именуется Хроносом, Временем<sup>55</sup>. Хронос породил светлый эфир неба и клокочущий хаос. Из них родилось космическое яйцо, которое содержало в себе все зародыши Вселенной: богов, титанов и людей. Этот образ также характерен для древнего политеизма. О космическом яйце говорят Риг-Веда и Упанишады, Книга Мертвых и китайские мифы. Все они утверждают одно: мир не творится, а *рождается* как бы сам собой, подобно птице, выходящей из яйца. (Эта мысль о «рождении» мира из вечной стихии явилась не чем иным, как языческой предшественницей материалистической мифологии.)

Когда гигантское яйцо раскололось, продолжает орфическое сказание, из него вышел сияющий Протогонос, т. е. *Первородный* — бог, объемлющий собой все природное многообразие.

Четвертый орфический гимн обращается к нему в таких торжественных выражениях:

Могучий Первородный, зов услышь,  
Двойной, яйцерожденный ты, сквозь воздух  
Блуждающий, могучий ревом бык;  
На золотых крылах своих пресветлый,  
Живой родник племен богов и смертных.  
Неизреченный, скрытый, славный, власть,  
Цвет всех сияний, всех цветов и блесков.  
Движенье, сущность, длительность и самость,  
Ты ото тьмы освобождаешь взор;  
Протогонос, могучий Первородный,  
Всемирный свет, небесно-осиянный,  
Ты, вея, чрез Вселенную летишь<sup>56</sup>.

Первородный стал отцом Ночи, которая образовала небо и землю. Поэтому Ночь есть «богиня, даровавшая жизнь».

Далее орфическая теогония следует поэме Гесиода: из земли вышло племя титанов; их вождь Крон оскопил своего отца и поглощал детей. Так же, как у Гесиода, дети восстают на отца и побеждают его под водительством Зевса. Но на этом кончается сходство орфического и Гесиодова мифов. Тяготение к Единству получает у орфиков своеобразное выражение. Они учат, что Зевс, поглотив Первородного, становится тождественным ему. Отныне он – единственное мировое божество, являющееся во многих ликах:

Зевс – первый, Зевс же и последний, громовержец.  
Зевс – глава, Зевс – середина, из Зевса же все создано...  
Зевс – основание земли и звездного неба...  
Зевс – корень моря, он – солнце и вместе луна.  
Зевс – владыка, Зевс сам – всему первоордец,  
Единая есть Сила, единое Божество, всему великое  
Начало<sup>57</sup>.

Но и этим апофеозом Зевса история богов не заканчивается. Громовержец вступает в союз с преисподней и от ее царицы Персефоны (Коры) рождает сына – *Диониса-Загрея*<sup>58</sup>. Появление этого божества не означает отказа от веры в единую Силу, пронизывающую космос. Дионис-Загрей для орфиков лишь как бы ипостась Зевса, он его мощь, его «одождяющая сила». Таким образом, Дионис есть Зевс, а Зевс – не кто иной, как Первородный.

Отсюда формула, столь разительно напоминающая изречения фиванских, халдейских и индийских жрецов: «И Зевс, и Аид, и Солнце, и Дионис – едины»<sup>59</sup>.

Соединив в себе традиции Элевсина, Дельф и дионисизма, орфики как бы собрали воедино разные уровни Вселенной и таким образом пришли к идее о едином пантеистическом божестве. В нем сходится многое из того, что знала старая мифология: оно и рогатый Вакх-Мино-тавр, и «Отец всего» – Небесный свод, и владыка преисподней, и созидаящая сила любви – Эрос. Вселенское сверхсущество раскинуло свои крылья от одного полюса мироздания до другого. Но в его недрах не утихает борьба враждующих начал.

Следствием этой борьбы и явился на земле человек.

\* \* \*

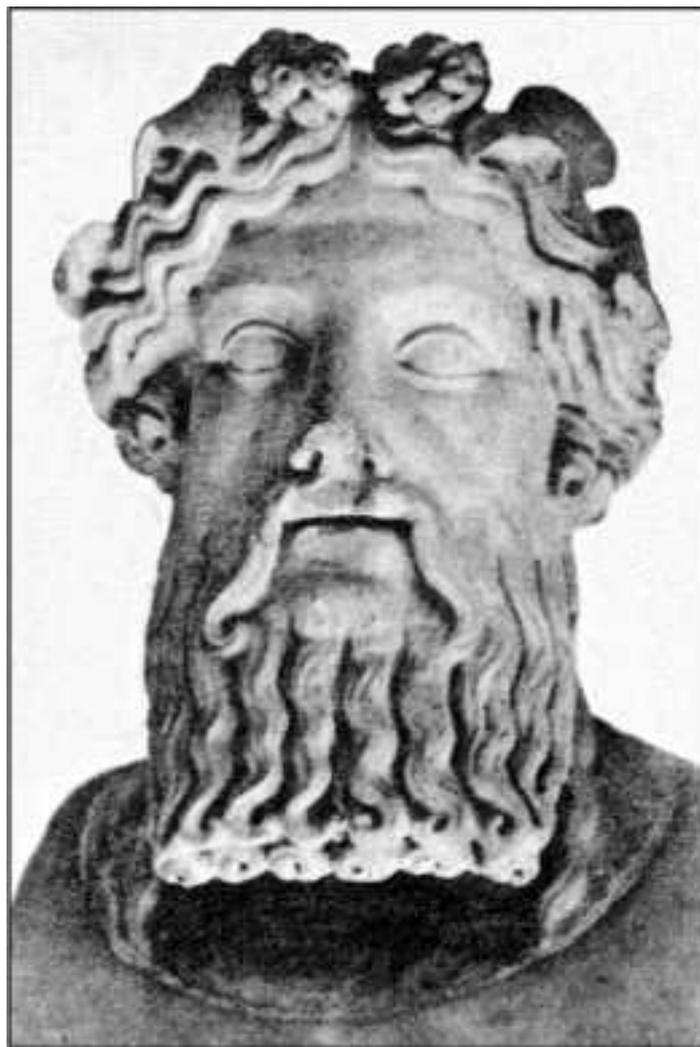
Учение о человеке – наиболее оригинальная часть орфической доктрины. Миф повествует, что однажды титаны ополчились против Диониса, который пытался ускользнуть от них, принимая различные облики. Когда он обернулся быком, враги настигли его, растерзали и пожрали. Нетронутым осталось лишь сердце – носитель Дионисовой сущности. Принятое в лоно Зевса, оно возродилось в новом Дионисе, а небесные громы спалили мятежников.

Из оставшегося пепла, в котором божественная природа была перемешана с титанической, возник человеческий род<sup>60</sup>. Это означает, что человек искони был существом двойственным.

Здесь, несомненно, отразился опыт религии Диониса. В момент священного безумия человека подстерегало дремавшее в нем «титаново» начало. Именно оно приводило людей к озверению, и оно же безжалостно ввергало их в темницу тела. Трагическая дисгармония есть «многострадальных людей начало и первоисточник»<sup>61</sup>. Блаженство человека – в крылатом парении духа, его несчастье – в подчиненности плоти.

Так в греческом сознании совершается переворот, и взгляд на природу человека приближается к индийским воззрениям. Если в гомеровские времена важнейшим считалось тело, а душу мыслили чем-то ущербным, нетвердым и слабым, то теперь именно она провозглашается высшим началом в людях, причастных Дионису<sup>62</sup>.

А тело? «Сома – сема», тело – это гробница, – отвечали орфики. Душа подавлена им и влачит в его тесных границах жалкое существование. Даже и в смерти не освобождается она от тисков титановой природы. Эта низменная природа заставляет душу *вновь возвращаться* на землю, и нет конца страданиям духа – дионисовой искры.



Голова Диониса

Перед нами редчайшая среди мировых религий параллель индийской *сансаре*. В орфическом *метемпсихозе*, учении о переселении душ, есть даже нечто сходное с концепцией кармы<sup>63</sup>. Говорили, что перевоплощениями людей руководит Дике, высшая Справедливость. Философ Эмпедокл, живший в V в. и испытавший на себе влияние орфизма, называл даже сроки, в течение которых душа несет то или иное наказание, странствуя из тела в тело. Сам о себе он писал:

Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то,  
Был и кустом, был и птицей, и рыбой морской  
бессловесной<sup>64</sup>.

Таков «тяжкий горестный круг», о котором учили орфики. Он предопределен Судьбой, ибо без нее ничего не может совершиться в мире.

Но орфизм никогда не приобрел бы стольких приверженцев, если бы он ограничился лишь этой констатацией безысходного положения человека. В чаянии обрести спасительную пристань орфики обращались к Дионису. Пусть злая титаническая воля сковала человека, обрекла его на тщетные борения, но ведь люди причастны самому Вакху. Капли божественной крови тянутся к своему первоисточнику. Тоска души по высшей жизни – это голос божества в человеке.

При создании смертных Дионис оказался жертвой, но жертва эта будет полной, когда бог вырвет земнородных из «колеса бывания и Рока», из «круга Необходимости» и приведет их в светлый небесный мир.

Обращаясь к Дионису, орфики пели:

Смертные будут тебе заколать по весне гекатомбы,  
Оргии править, моля разрешение древней обиды  
Предков законопреступник; и, Сильный, их же  
восхощешь  
Ты разрешить от трудов и от ярости вечного жала<sup>65</sup>.

Здесь обнаруживается глубокая внутренняя противоречивость натуралистической теософии орфиков. Ведь Дионис как природный бог сам был подвластен Судьбе и Необходимости. Хотя гибель его от рук титанов была мнимая, но и воскресение его не являлось окончательным, ибо природа и Рок не выходят за пределы вечного возвращения.

Тем не менее, подобно прочим мифам о страждущем божестве, орфизм заключал в себе одно из великих прозрений дохристианского мира. Если в одном плане миф о смерти и воскресении бога есть проекция на религию природных циклов, то в более глубоком смысле он содержит смутную догадку о том, что мир, удалившийся от Бога, не оставлен Им на пути страдания, что Божество состраждет творению, снисходит к нему, чтобы принять его муки и вывести к истинной жизни.

\* \* \*

Орфики учили, что человек сам должен идти навстречу Дионису-спасителю. Для этого они установили свои мистерии, участвуя в которых посвященные развивали в себе Дионисово начало. Как и в Элевсине, мистерии Орфея содержались в строжайшей тайне, и поэтому о них почти ничего не известно. Но и повседневная жизнь посвященных, которая была более открытой, отличалась особыми правилами.

Прежде всего от вступающего на путь посвящения требовалось блюсти заветы добра. Орфик обязан был вести неустанную войну с титанизмом в своем сердце. И мысли, и дела его должны были быть чистыми. Гимны прямо называют истинного орфика «добродетельным», или «святым»<sup>66</sup>.

Орфею приписывали запрет употреблять в пищу животных (опять индийская черта!). Это считалось как бы внешним механическим заслоном против человеческой животности, «плоти». Разумеется, были отвергнуты и кровавые жертвы; на орфических алтарях курили миррой, шафраном и другими ароматами<sup>67</sup>.

Для освобождения души из телесной тюрьмы и «цикла рождений» у орфиков рекомендовались особые принципы *аскезы* — так называемая «орфическая жизнь». Она основывалась на строгом разделении души и тела, причем все телесное и материальное считалось нечистым. Это тот радикальный спиритуализм, огромное воздействие которого на греческую философию старые историки недооценивали.

\* \* \*

Таково в самых общих чертах было учение, появившееся в Греции в эпоху кризиса ее гражданской религии. Орфизм, казалось, был способен вытеснить старые культы и стать миро-

воззрением всей Эллады. Но этого не произошло. Первой причиной был синкретизм самой орфической теософии, которая впитала всевозможные мифы, культы и поверья. Это лишало ее цельности и способности противостоять традиционному язычеству. Второй причиной являлся общий характер религиозности греков. Даже критикуя своих богов, они не желали расставаться ни с одним из них как с неотъемлемой частью национальной жизни. Следование одному культу не исключало другого, и поэтому орфизм, как и Элевсинские мистерии, не смог завоевать себе исключительного положения.

Правда, в последние десятилетия VI в., в правление Писистрата, орфизм стал чем-то вроде государственной религии Афин. Но с падением тирана и окончательным водворением демократии орфики утратили свое значение. Вскоре и сам орфизм стал вырождаться. Он исповедовался в маленьких замкнутых кружках, в которых воцарился дух суеверий и магической обрядности. Члены этих общин носили с собой всевозможные реликвии и предметы культа. Лишенное сколько-нибудь выдающихся учителей, пущенное на самотек, движение сходило на нет. Однако за пределами Греции нашелся человек, который не дал ему угаснуть окончательно и по-своему истолковал учение Орфея. Он развил содержащееся в нем понятие о Едином, которое в то время начинало глубоко волновать религиозную мысль Греции.

## Часть II

### Бог и природа. натурфилософы

#### Глава шестая

#### Мир как гармония. Пифагор. Южная Италия, 540–500 гг. до н. э

*Вселенная постепенно вырисовывается скорее как великая Мысль, чем как большая машина.*  
*Д. Джинс*

С именем *Пифагора* чаще всего связывают представление об ученом-математике и астрономе. Когда Коперник отверг геоцентризм, он ссылаясь на труды пифагорейцев, и хотя нет уверенности, что известная теорема была выведена самим Пифагором, его школа, несомненно, внесла огромный вклад в математические знания Запада<sup>68</sup>. Говорят, Пифагор был первым, кто назвал себя «любителем мудрости», *философом*, и таким образом место его – у преддверия античной мысли, рядом с его современниками, натурфилософами Милета. Однако те немногие сведения об этом человеке, которыми мы располагаем, рисуют Пифагора в первую очередь оккультным учителем и религиозным реформатором<sup>69</sup>.

В то время как Орфей и Меламп остаются фигурами совершенно неразличимыми за пеленой мифов, Пифагор – лицо вполне историческое. Геродот, родившийся несколько лет спустя после его смерти, называет Пифагора «величайшим эллинским мудрецом»<sup>70</sup>. Даже малодостоверные легенды, из которых почти целиком состоят позднейшие биографии философа, помогают в чем-то уяснить его характер. В них проглядывают черты яркой индивидуальности.

Появление Пифагора означало качественно новый этап в умственной жизни греков. Прежде о Судьбе, богах, мире и людях говорили лишь поэты. Пифагор же – первый религиозный мыслитель и наставник Эллады, своего рода пророк, который стремился углубить и развить орфическую теософию.

История мысли – это в значительной степени история мыслителей. Личный гений оплодотворяет нерасчлененную и бесформенную стихию традиции, созидая нечто новое. Разумеется, вне стихии народного сознания и богословие, и философию, и искусство едва ли возможно себе представить; они питаются ею, как корни растения соками земли. (Даже такой «уединенный» мыслитель, как Кант, несомненно, вырос на почве протестантской религиозности.) Но, с другой стороны, без организующей силы индивидуального мышления эта стихия обречена была бы оставаться бесплодной. Именно сила творческой личности определяет значение Пифагора для античного мира.

«Религия, – по выражению Бердяева, – есть мистика, в которой засветился Логос, началось прозрение смысла вещей». Дионисизм и мистерии были мистикой подсознания; орфики первыми попытались внести в нее начало «разумения», но только Пифагор явился завершителем духовного течения, вышедшего из Дельф, Элевсина и культа Вакха. Более того, он в свою очередь пробудил интеллектуальное движение, которое привело к созданию философии Платона. Основатель религиозной доктрины и отец философского идеализма, Пифагор стоит, таким образом, на развилке путей эллинского духа.

\* \* \*

По преданию, Пифагор родился около 580 года до н. э. на острове Самос, вблизи ионийского побережья Малой Азии. Первые познания он мог получить от своего отца, ювелира: в те времена эта профессия требовала многосторонней образованности. Есть указания, что его предки были сирийцами или финикийцами, и, может быть, еще в своей семье он приобщился к религиозной традиции Востока<sup>71</sup>. Для тогдашней греческой молодежи посещение чужих стран было главным способом расширить запас знаний, и поэтому юность свою Пифагор провел в путешествиях.

Ему было лет тридцать, когда он приехал в Египет и там познакомился с древней мудростью жрецов: медициной, математикой и метеорологией. Говорят, что при вторжении персов в Египет Пифагор был захвачен в плен и отвезен в Вавилон. Существует легенда, будто в то время он встретился с иранским пророком Заратустрой и даже побывал в Индии<sup>72</sup>. Но, по мнению большинства историков, эти сведения (записанные, кстати сказать, много веков спустя после смерти мудреца) являются скорее романом, чем историей<sup>73</sup>. Наиболее достоверными можно признать указания на поездки Пифагора в Вавилон и особенно Египет, с которыми греки в то время имели тесные отношения. Вполне понятно, что религии этих стран должны были произвести большое впечатление на «любителя мудрости» и дать богатую пищу его воображению и мысли.

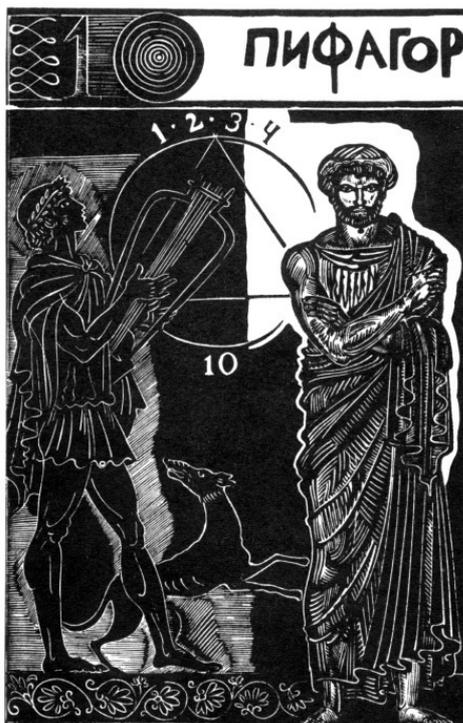
Вернувшись на Самос, Пифагор нашел родину в руках диктатора Поликрата, который упрочил свою власть, опираясь на союз с персами. Поначалу могло показаться, что остров расцвел после трудных лет политических переворотов. Поликрат, сам выходец из торговой среды, поощрял ремесла и искусства. Повсюду сооружались обширные постройки, поражавшие своим великолепием. При дворе правителя находили приют выдающиеся поэты и художники. Но Пифагор быстро понял цену этой золотой клетки. Опека властей оказалась тяжким бременем для свободы мысли. По словам Порфирия, философ «видел, что тирания слишком сильна, чтобы свободному человеку можно было доблестно переносить надзор и деспотизм»<sup>74</sup>. Пифагор проникся отвращением к самосскому режиму и задумал навсегда покинуть отечество. «Ненавидя душой тиранию, сам он изгнание избрал», – говорил Овидий, читавший одну из древних биографий философа<sup>75</sup>. О подробностях этого переселения (или изгнания?) ничего не известно. Мы знаем лишь, что в 540 году Пифагор сел на корабль, отплывавший в Италию, и через некоторое время прибыл в город Кротон.

Сюда, в богатый торговый порт у берегов Тарентского залива, в так называемую «Великую Грецию», стремились многие путешественники, купцы и мастера. В этом царстве колонистов общая атмосфера была намного свободнее, чем на Самосе.

Трудно сказать, где окончательно сложились воззрения Пифагора и когда он почувствовал в себе призвание духовного учителя, во всяком случае именно в Кротоне он начал излагать свою доктрину и основал *Союз*, или братство. Его деятельность началась почти одновременно с проповедью Будды, Конфуция и Исаяи Второго.

В пифагорейском Союзе авторитет учителя был непререкаем: ссылка на его мнение («Сам сказал!») решала все споры. Это объяснялось тем, что на Пифагора смотрели как на чудотворца и вообще существо сверхъестественное. По-видимому, в его личности было нечто такое, что внушало веру в его близость к таинственным мирам. Он сам говорил о себе как о посланнике богов, подчеркивал свою исключительность, одеваясь, как жрец, в белые одежды, поражая всех «важностью вида»<sup>76</sup>. Каждое его движение было отмечено достоинством и сознанием учительской роли.

О нем рассказывали самые необычайные вещи: будто он появлялся одновременно в разных местах, проникал в загробные области, беседовал с духами. Говорили, что однажды, когда Пифагор переходил реку, из воды раздался голос, приветствовавший его<sup>77</sup>. Все это – свидетельства очень поздних легенд, но они, по-видимому, верно отражали настроения, царившие в кругу первых пифагорейцев. Бертран Рассел называет Пифагора чем-то средним между Эйнштейном и Мэри Эдди, основательницей секты «Крисчен сайенс», но, пожалуй, если уж сравнивать с современностью, он больше напоминает Рудольфа Штайнера с кругом его почитателей – антропософов.



Пифагор. Гравюра Г. Иванова

Находились люди, которые насмехались над Пифагором, называя его шарлатаном и честолюбцем. Его импозантность казалась им игрой, рассчитанной на легкоеверие. Гераклит презрительно отзывался даже об обширной эрудиции Пифагора. Но влияние пифагорейства показывает, что оно представляло собой серьезное течение, да и вообще нет оснований сомневаться в подлинной мудрости и мистической одаренности основателя Союза. Если европейцы с доверием относятся к необычайным способностям йогов, почему считать вымыслом подобные способности у Пифагора? Скорее всего легенды о нем имели реальное основание, хотя утверждать нечто большее вряд ли возможно.

До нас не дошло ни одной строчки, написанной самим Пифагором, а древние авторы уверяли, что он вообще ничего не писал<sup>78</sup>. Это вполне вероятно, ибо в ту эпоху духовная истина считалась обычно уделом посвященных избранников; писать означало отдать ее на всеобщий суд. Но и устное учение Пифагора было эзотерическим. О его содержании, по словам Порфирия, никто не мог сказать ничего определенного, так как пифагорейцы «давали строгий обет молчания».

\* \* \*

Тем не менее основные черты Пифагоровой доктрины не утеряны полностью. С распадом Союза его члены меньше заботились о соблюдении тайны. Пифагорейские школы и кружки существовали очень долго, вплоть до первых веков нашей эры. Благодаря этому традиция не была прервана. Ряд важных ее положений сообщают Аристотель, Овидий, Аэций, Диоген Лаэртский, которые могли получать сведения непосредственно из пифагорейской среды.

Овидий в таких выражениях рисует Пифагора-учителя:

Постигал он высокою мыслью  
В далях эфира – богов; все то, что природа людскому  
Взору узреть не дает, увидел он *внутренним взором*.  
То же, что духом своим постигал он с бдительным  
тщаньем,  
Все на потребу другим отдавал, и толпы безмолвных,  
Дивным внимавших словам, великого мира началом,  
Первопричинам вещей, пониманью природы учил он.  
Что есть Бог; и откуда снега; отчего происходят  
Молнии – Бог ли гремит иль ветры в разъярившихся  
тучах;  
Землю трясет отчего, что движет созвездия ночи?  
Все, чем таинственен мир<sup>79</sup>.

Из этих строк явствует, что концепция Пифагора была натурфилософской. Он искал божественное Начало в природе, не отделяя религиозного познания от естественнонаучного.

Овидий излагает и сущность воззрений Пифагора:

Не сохраняет ничто неизменным свой вид; обновляя  
Вещи, одни из других возрождает обличья природа,  
Не погибает ничто – поверьте! – в великой  
Вселенной.  
Разнообразится все, обновляет свой вид; народиться —  
Значит начать быть иным, чем в жизни былой; умереть же —  
Быть, чем был, перестать; ибо все переносится в мире  
Вечно туда и сюда; но сумма всего – постоянна<sup>80</sup>.

Порфирий, ссылаясь на философа Дикеарха, писал, что, согласно Пифагору, «душа бессмертна, но переходит из тела в тело живых существ; далее все происходящее в мире *повторяется* через определенные промежутки времени, но что ничего нового вообще не происходит»<sup>81</sup>. Это взгляды, характерные для орфической теософии и восточных религий. Для грека, искавшего цельное мировоззрение и соприкоснувшегося с Востоком, самым естественным было обратиться к учению орфиков, которое сочетало в себе эллинские и восточные элементы.

Приведенные свидетельства показывают, что Пифагор усвоил идею *циклизма*, столь свойственную всем древним мирозерцаниям. Метемпсихоз являлся у него лишь частным случаем закона «вечного возвращения».

Насколько конкретна была для философа теория перевоплощения, видно из анекдота, сохраненного Ксенофаном: однажды, говорит он, Пифагор обратился к прохожему с просьбой

не бить щенка, так как по его голосу он якобы узнал душу своего умершего друга. О себе Пифагор, подобно Будде, говорил, что помнит многие свои прошлые жизни; в частности, он будто бы был троянским героем Эвфорбом.

Но самосский мудрец интересен не этими взглядами, общими с орфизмом и религиями Востока. Центром его учения было понятие *гармонии*, навеянное культом Аполлона, бога искусств, света и соразмерности. Говорили, что Пифагор – ученик дельфийских жрецов. К сребролукому богу прибегали еще Орфей и Мелами, пытаясь упорядочить вакхическую веру. У Пифагора двуединство Аполлона и Диониса, намеченное орфиками, оказывается основным принципом *космоса* (от глагола *космёо* — устраивать, украшать). Этим словом впервые назвал Вселенную Пифагор.

Если Дионис рассыпается фонтаном многообразных явлений, в котором бушуют хаотические силы раздробленности, то Пифагор усмотрел божественное в порядке, структуре, организации. Аполлон был для Пифагора создателем космического строя. Таким образом, философ соединял две почти враждебные стихии греческой религии: Хтонос и Олимп, ночь и день, иррациональное и разум.

Это, однако, не означало возврата к языческой мифологии. Пифагор презирал ее за примитивность и вульгарность. Он утверждал, что видел в потустороннем мире Гомера и Гесиода, которые терпели муки за то, что повторяли нелепые басни о богах. Пифагор требовал уважения к богам, но, как и для Будды, они не были для него высшими существами: они лишь олицетворяли ту или иную сторону мироздания.

Верховным Божеством философ почитал некое огненное Единство, пребывающее в самом средоточии космоса. Втягивая потоки пустоты, окружающей Центр, это пламенное Целое образует множественность миров, состояний и качеств. Полюсы мира не исчерпываются Аполлоном и Дионисом. Стройная красота Вселенной осуществляется через согласование двадцати противоположных ее частей, или начал: предел и беспредельное, покой и движение, прямое и кривое, мужское и женское, хорошее и дурное, чет и нечет, правое и левое, единое и множественное, квадратное и разностороннее, свет и тьма<sup>82</sup>.

Здесь, как и в китайской философии, дуализм старых мифов претворяется в понятие о созидательной роли полярностей. Значение Пифагора заключается в том, что на место каприза, произвола и неустойчивости, которые усматривала в мире Олимпийская религия, он поставил идею *закономерности*. Но как почитатель Аполлона он был одновременно и своеобразным продолжателем Олимпийской традиции. Ведь именно она в лице своих богов освятила «человеческое», разумное начало. Пифагор очистил это начало от грубых черт, признав умопостижимый закон основой мира. Более того, он открыл, что человеческий дух причастен этим законам и в самом себе переживает красоту и гармонию.

Не случайно поэтому музыка была в глазах Пифагора лучшей бессловесной проповедью. Он утверждал, что она обладает способностью поднимать душу по ступеням восхождения и открывать высший порядок, скрытый от взоров невежд. Пифагор учил своих последователей слушать «гармонию сфер», вселенское звучание космического строя.

Но не только музыка служит путеводителем к тайнам единого живого мироздания. Один пифагореец говорил, что есть «божественное знание», приобщающее человека к всеобщей гармонии, которая имманентно, внутренне «присуща вещам». Это знание может быть выражено только на абстрактном языке математики. Математика, по мнению Пифагора, нечто неизмеримо большее, чем подспорье для архитекторов и мореходов. Погружение ума в чистый мир *чисел* открывает ему то измерение бытия, которое доступно не чувствам, а только интеллекту. Геометрические формы и числа как таковые принадлежат умопостижимой сущности природы, они больше всех человеческих иероглифов отрешены от чувственных образов. Открытие этого особого мира, сделанное Пифагором, впоследствии легло в основание платонизма.

По свидетельству Аристотеля, пифагорейцы провозгласили «принципы математики принципами всего сущего». Она рассматривалась как каркас космографии, как путь к выведению единой формулы мира, которая тождественна с музыкальной гармонией. То была гениальная догадка, и мы знаем, что в XX в. математика привела физику к понятию о металогической структуре природы.

Единица казалась Пифагору наилучшим знаком для Божественного единства. Совершенно лишь верховная Монада. Однако космический дуализм остается у Пифагора в силе. Он делит Целое на *два извечных начала*: деятельное и пассивное, Божество и материю. В их взаимодействии и существует Вселенная, основанная на числах и геометрических элементах.

Кроме музыки и математики, Пифагор указывал и на третий способ настройки души-инструмента в унисон с небесной симфонией. Им являлся особый уклад жизни, который требовал просветленности, гармоничности и меры в поступках, чувствах и мыслях. Пифагореец должен был воспитывать в себе целомудрие, сдержанность, миролюбие, уважение к древним учениям. На смену «орфической жизни» пришла «жизнь пифагорейская».

Ученик обязан был строго следить за собой, заглядывая в свою душу, проверять совесть: «Что преступил я? Что натворил? Какого не выполнил долга?»<sup>83</sup> Человеку следует помнить, что его бессмертная душа есть арена противоборства враждующих сил. Их нужно привести в равновесие. Того, кто не смог перестроить свою душу по принципам гармоничности, не минует возмездие. Лишь совершенная жизнь может принести душе блаженство в этой жизни и в будущих воплощениях.

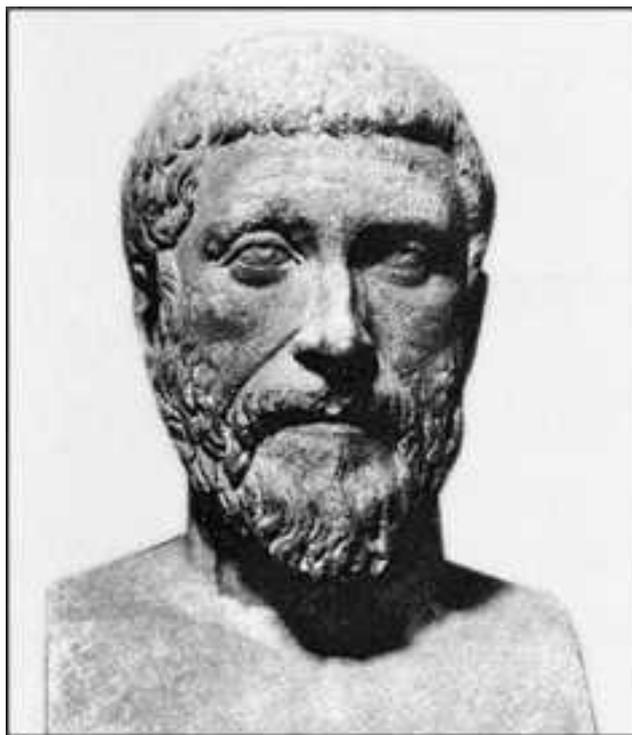
Подобно орфикам, Пифагор проповедовал «неубиение». Овидий вкладывает в его уста страстную проповедь, направленную против животной пищи. Некоторые древние авторы, напротив, доказывают, что Пифагор запрещал употреблять в пищу лишь отдельные части тела животных. Но достоверно известно, что позднейшие пифагорейцы совсем отказывались от мясной пищи<sup>84</sup>. Это воздержание усложнялось многочисленными старинными табу народных поверий.

Общественным идеалом мудреца была аристократическая форма правления, но имелось в виду господство не эвпатридов, а «аристократов духа». У кормила власти, по мнению Пифагора, должны стоять люди, посвященные в высшее знание.

В какой-то степени ради этих целей и был образован Пифагорейский союз. Он представлял собой не партию и не простое сообщество, а настоящий *религиозный орден*. Некоторые историки любят сравнивать его с масонскими ложами. Исключая буддийскую Сангху, он был единственным во всем древнем мире.

У пифагорейцев были не только своя иерархия, обрядность и эзотерические доктрины, но их связывала строгая дисциплина и послушание. Члены Союза проходили искус, пребывая несколько лет в молчании<sup>85</sup>. Много внимания уделялось развитию музыкальной культуры и математических знаний. Особое значение придавалось углубленным размышлениям – медитациям. Предметом их были, вероятно, изречения учителя. И хотя большинство из них до нас не дошло, но благодаря медитациям учение Пифагора жило, передавалось изустно.

В Кротоне Союз на какое-то время завоевал политическую популярность. Пифагорейцы даже сумели взять в руки бразды правления и распространить власть на соседние города. По свидетельству древних, проповедники гармонии управляли хорошо. Но политика и мудрость редко сопутствуют друг другу. За успехами Союза последовали неудачи, и наконец его постигла полная катастрофа.



### Пифагор

В 510 году в Сибарисе, расположенном севернее Кротона, вспыхнуло восстание демоса. Правители-эвпатриды были изгнаны. Несколько сот из них попросили убежища у кротонцев. Принять их означало бросить вызов более сильному соседу. Во время народного собрания кротонцы склонялись к тому, чтобы выдать беглецов. Но Пифагор посоветовал взять их под покровительство. Он не одобрял демократии, в которой, возможно, видел хаотическое начало.

Между городами вспыхнула война. Хотя у кротонцев сил было втрое меньше, они победили: жестокое сражение кончилось полным разгромом Сибариса. Но этим невозможно было остановить волну общественных перемен: по всей Греции и в ее колониях свергалась власть аристократии. Дошла очередь и до Кротона. Видя это, престарелый Пифагор покинул город.

Тем временем положение Союза становилось все более шатким. Руководители его отчаянно сопротивлялись попыткам установить в Кротоне народовластие. Это настроило против них большинство граждан. Один богатый кротонец, по имени Килон, организовал настоящую травлю пифагорейцев. Говорили, что когда-то он сам просился в Пифагорейский союз, но не был принят, а теперь беспощадно мстил отвергнувшим его людям. Он распространял о братстве самые гнусные небылицы и скоро достиг своей цели – полного падения власти пифагорейцев.

Развязка борьбы была трагической. Во время народного волнения старейшины Союза срочно собрались на совет в доме одного знатного гражданина. Здесь их настигла разъяренная толпа: дом подожгли, и лишь два человека успели выбраться из пылавшего здания<sup>86</sup>.

Для пифагорейцев наступили годы гонений. Их доктрина подвергалась осмеянию, а самих их повсюду объявляли врагами отечества.

Тем не менее рассеявшиеся группы учеников Пифагора сберегли его учение. Пусть оно и не привело к сколько-нибудь стойкой религиозной реформации, но, даже ограниченное узкими кружками, оно воспитало плеяду талантливых философов и ученых. Идеи Пифагора о Едином, о гармонии, вечных основах мироздания, о бессмертии духа оказали плодотворное воздействие на развитие античной философии и науки. Через Эсхила, Платона и Евклида пифагорейство передало свою эстафету будущим поколениям.

Таким образом, не обладая столь могучим религиозным даром, как Индия или Израиль, Греция все же сумела завоевать для мира великие духовные сокровища в сфере познания и религиозной мысли.

## Глава седьмая

### Ионийские мудрецы. Малая Азия, 650–540 гг. до н. э

*В греческой философии концепция универсального Порядка, управляющего природой, нашла наиболее полное выражение.*

*Кр. Даусон*

Авангардом возрождавшейся после упадка греческой цивилизации были, как мы видим, ионийские города. Поэтому вполне естественно, что именно там было заложено основание античной науки. Одним из главных центров умственной жизни Ионии был *Милет*, основанный некогда предприимчивыми мореплавателями. В эпоху колонизации порт этот оказался на самом рубеже греческого мира и Востока. Финикийцы были партнерами и конкурентами милетских купцов, город имел тесные связи с Египтом и Персией. В гаванях Милета встречались люди многих племен, наречий и верований.

В то время Восток переживал свой последний культурный расцвет. Седьмой век ознаменовался созданием знаменитой Ниневийской библиотеки, возрождением египетского искусства, основанием медицинского училища в Египте и завершением энциклопедии Аменемипета. В шестом столетии при Навуходоносоре вновь ожила вавилонская культура. Казалось, дряхлеющие цивилизации хотели оглянуться назад и подвести итог своему многовековому развитию.

Греки с жадностью набросились на сокровища иноземной мудрости и не стыдились называть себя «учениками». Мы уже видели, что орфики и пифагорейцы многим были обязаны восточным идеям. Но в такой же степени эти идеи послужили толчком для зарождения научно-философской мысли эллинов.

Если у халдеев и египтян наука была еще достоянием жрецов, то в Греции она приобрела уже вполне светский характер. В Милете совершилось первое в истории вычленение философии как чего-то самостоятельного. В отличие от теософии и богословия ее можно определить как попытку познать и осмыслить бытие человека, природы и высшего Начала *независимо* от религиозного откровения.

Что означала эта веха в истории человечества? Шаг вперед? Освобождение разума от зависимости? Прогресс знания высшего типа? Так думают одни. Другие же, напротив, видят в появлении отвлеченной философии настоящее «грехопадение» разума, оторвавшегося от истоков подлинно духовного постижения<sup>87</sup>. Обе точки зрения справедливы лишь частично, и обе, по-видимому, следует принимать с большими оговорками.

Прежде всего *разделение* науки и веры было необходимо для того, чтобы они могли созреть, не препятствуя друг другу. Это естественный этап в истории духа. Эмпирическое знание, изучение природы и отвлеченная мысль требуют своих «правил игры», и вторжение в эту область религиозных доктрин, смешивающих два плана познания, сковывало науку. А с другой стороны, религия не зависит от науки, так как сфера ее по природе глубже научного исследования. Эмансипация науки и философии от опеки богословских теорий расчищала путь как для знания, так и для веры.

При всем этом не следует забывать, что наука и метафизика не бывают абсолютно автономными. Человек, постигающий истину, – не гносеологический механизм: в своих усилиях разрешить мировые загадки он всегда исходит из интуиции, которая сродни вере. Пусть научное знание развивается по формально-логическим законам, постулатами его – сознает это человек или нет – являются некие *недоказуемые* утверждения, которые он принимает как очевидные для себя. Иными словами, отправной пункт науки связан с верой. Это подтверждают в

наше время даже столь точные дисциплины, как физика или математика<sup>88</sup>. Достаточно напомнить имена Эйнштейна, Бора, Рассела.

Разделение двух видов познания реальности во многом помогло уяснению их границ и природы. Но этой дифференциацией часто пренебрегали, рубежи нарушались, и возникали конфликты. Теологи пытались навязать науке свои теории, а представители естествознания и философии, забывая об априорности научных посылок, неоправданно расширяли свои полномочия: они наделяли разум всемогуществом, видя в нем *единственный* орган познания для всех измерений бытия.

Этот «рационализм» действительно можно назвать «первородным грехом» мышления. Его ошибка заключалась в том, что он объявлял разум высшим судьей, игнорировал все пласты реальности, кроме эмпирического и умопостигаемого. Рационализм рассекал живой познающий субъект – человека, сужая его возможности. Он не замечал, насколько «научная» картина мира зависит от чего-то иного, нежели наблюдение и логика, а именно – от внутренней установки, ориентира мыслителя, его *видения* реальности – веры.

На примере греческой философии все эти черты рационального познания обнаруживаются уже достаточно ясно. В ней проявились и сила, и слабость мышления, которое полагает себя независимым от веры.

\* \* \*

После всего сказанного, быть может, покажется странным утверждение, что главной целью греческой философии было искание Бога. Но в действительности к Нему, как к первичной Реальности, были обращены умственные взоры величайших умов античности. На их долю выпало занять в Греции место жрецов и пророков, возвыситься над народными верованиями. Начав с отрицания частных черт язычества, эллинские мудрецы в поисках цельного мирозерцания стремились выработать идею высшего Единства. Вокруг этого вращались и античная наука, и философия<sup>89</sup>. С самых первых своих шагов они отказались от служения только практическим нуждам, а поставили на первое место бескорыстную жажду истины. О первом милетском философе и ученом Фалесе Плутарх говорил: «Он пошел дальше того, что нужно было для практических потребностей».

Уверенность в существовании единого верховного Принципа для всей Вселенной явилась стержневой интуицией греческой философии. Обосновать же эту интуицию стоило величайшего напряжения сил. Нам, людям, выросшим в иных религиозных и научных традициях (даже тем, кто стоит вне религии), мысль о единстве божественного Начала представляется более или менее естественной. Но для древних она была в высшей степени трудной. Вспомним хотя бы, с какой борьбой утверждался монотеизм в Израиле, вспомним, что идея многобожия оставалась господствующей в большинстве старых цивилизаций, и тогда мы сможем оценить подвиг греческих философов и понять трудности, которые стояли на их пути. Интуиция Единства не имела для них той достоверности, какую дает Откровение, и тем напряженной должны были быть усилия интеллекта, строившего свое незримое здание.

\* \* \*

Эмпирическая наука, принесенная с Востока в Ионию, вызвала к жизни первые попытки создать цельную картину мира и уяснить его происхождение. *Фалес Милетский* (ок. 638—ок. 548), с именем которого обычно связывают начало греческого естествознания, был человеком для своего времени энциклопедически образованным. Будучи купцом, он собрал во время путешествий множество разнообразных сведений. В 585 году весь Милет был изумлен тем,

что Фалес сумел предсказать солнечное затмение. (Этому он научился в Египте.) Ему не было равных в знании геометрии, метеорологии, сельского хозяйства. Впоследствии говорили даже, что именно он изобрел греческий календарь<sup>90</sup>.

Таких людей в этом торговом городе ценили, правители охотно приглашали их на службу и хорошо им платили. Но Фалес, избравший независимую жизнь мудреца, уклонялся от всех заманчивых предложений. Он целиком ушел в мир своих мыслей<sup>91</sup>. Все, что он знал о светилах, растениях, математических законах, побуждало его искать некую общую *Первооснову* – *архэ*, из которой бы вытекало все сущее. Поглощенный этой проблемой, Фалес превратился в типичного ученого-чудака, не замечающего, что творится вокруг. О его рассеянности по городу ходило множество анекдотов. Так, рассказывают, что однажды он упал в колодец, заглядевшись на небо. В старости, когда Фалес стал плохо видеть, он все чаще говорил о своем равнодушии к житейской суете, о том, что нет границ между жизнью и смертью. Когда шутники спрашивали его, почему же он не умирает, он отвечал им такой же шуткой, что ему безразлично – жить или умереть.

От Фалеса сохранились лишь отдельные изречения, которые, вероятно, были записаны не им самим. Наиболее достоверное из них касается именно той таинственной «архэ», которая породила Вселенную. Оно гласит: «Вода есть начало всех вещей»<sup>92</sup>. Аристотель считал это выводом, сделанным на основании наблюдений: он писал, что Фалес отождествил «архэ» с водной стихией, «к этому предположению он, можно думать, пришел, видя, что пища всех существ – влажная и что само тепло из влажности получается и ею живет». Поэтому милетский философ был причислен Аристотелем к тем, кто «считал началом всех вещей одни лишь начала в виде материи»<sup>93</sup>. (Это утверждение было принято и защитниками того мнения, будто прогресс науки ведет к материализму.)

Между тем в свете всего, что мы знаем о Фалесе и древних космогониях, весьма сомнительно, чтобы к «водной» концепции Первоосновы философа привела научная эрудиция. Если мы вспомним о его знакомстве с Востоком, то вынуждены будем признать, что Фалес, говоря: «Все – из воды», выступает не как естествоиспытатель, но как наследник мифологической традиции.

Напомним, что еще вавилоняне, египтяне и финикийцы говорили об изначальном водном Хаосе. Точно так же и Гомер называл Океан праотцем всего существующего. Индийские мифы утверждали, что первоначально Вселенная была «лишь морем»<sup>94</sup>. Эту же мысль мы находим и в Упанишадах, написанных в эпоху, близкую к временам Фалеса: «Земля, воздушное пространство, небо, горы, боги и люди, скот и птицы, деревья и трава, хищные звери вместе с червями, комары, муравьи – все это лишь облики вод»<sup>95</sup>.

Мифы о чудовищах водного Хаоса – вот источник Фалесовой космогонии<sup>96</sup>. Но эти мифы были по крайней мере более логичными, нежели мысль, будто неразумная стихия является Первоосновой Космоса. Подобная мысль Фалесу была чужда. У Аристотеля мы читаем: «Некоторые также говорили, что душа разлита во всем, быть может, в связи с этим и Фалес думал, что все полно богов»<sup>97</sup>. Иными словами, «архэ» – не просто водная стихия или материя, но одухотворенное Целое. В другом месте Аристотель приводит мнение Фалеса о том, что душа заключена в камнях. А согласно Аэцию, Фалес учил, что «все одушевлено»<sup>98</sup>. Только благодаря этому возможно все многообразие веществ, состояний, живых существ и духовных сил.

Идея нерасчлененного живого Целого есть, в сущности, уже попытка определить природу Божества. Причем Фалес так же, как орфики и Пифагор, придерживается древнеязыческого учения о рождении (или истечении) мира из праматеринского Божественного лона.

\* \* \*

Вторым великим ученым Милета был *Анаксимандр* (ок. 610—ок. 546). Он один из первых в истории предположил, что земля – это не остров, покоящийся на воде, а тело, свободно парящее в пространстве. Анаксимандра можно считать отцом эволюционизма, так как он думал, что человек произошел от живых существ, возникших в водной среде<sup>99</sup>.

Ученик Фалеса, Анаксимандр также был увлечен задачей найти Первооснову мира. Мифические «воды» в роли «архэ» его уже не удовлетворяли. Истоком всего он мог признать только нечто отличное от всех известных природных начал – Сущность, являющуюся «причиной самой себя». Для характеристики этой Сущности философ, видимо, считал недостаточным любое позитивное определение. Поэтому в своей книге «О природе» он назвал ее *Апейроном* — Беспредельным.

Сочинение Анаксимандра было утрачено рано, и поэтому уже древние спорили о том, что крылось у мудреца за термином «Апейрон». Аристотель в своей критике предшествующих систем склонен был видеть в Апейроне понятие какой-то фантастической сверхстихии. Но он же, говоря, что Апейрон «бессмертен и неразрушим», называет его «божеством».

Одно несомненно: употребив слово «Беспредельное», Анаксимандр хотел подчеркнуть неопределимость и безусловность космического Начала. Даже по чисто логическим соображениям следовало признать, что оно превосходит все конкретные облики мира. Негативное понятие об Апейроне напоминает учение брахманов. Ведь и там утверждалось, что Абсолют не исчерпывается никакими земными определениями и терминами. Концепцию Анаксимандра вполне можно было бы выразить словами Чхандогьи-упанишады: «Конечное заключено в Бесконечном»<sup>100</sup>. Вспомним также, что и Лао-цзы называл Дао «туманным и неясным».

Это сходство вряд ли можно считать случайным. Ведь Анаксимандр жил в эпоху расцвета орфического движения. Он мог познакомиться с ним и воспринять от него черты, близкие к восточным учениям. В частности, на влияние орфизма указывает мнение Анаксимандра, согласно которому миры «периодически возникают и исчезают». Еще явственнее близость Анаксимандра к орфизму видна из его загадочного изречения, касающегося происхождения вещей: «Из чего все вещи получают свое рождение, в то же они и возвращаются, следуя Необходимости. Все они в свое время наказывают друг друга за несправедливость»<sup>101</sup>. Мы не будем здесь вдаваться в подробности спора, который продолжается и поныне. Но какой бы оттенок ни придавали этим словам философа, ясно, что он имеет в виду космический круговорот, в котором рожденные Абсолютом вещи возвращаются к Нему, и что судьба их определяется «справедливостью». Здесь налицо тождество с учением орфиков, которые говорили о метемпсихозе и воздаянии.

Итак, Анаксимандр сделал в сравнении с Фалесом еще один шаг вперед на пути к идее о Божественном целом. Он поставил его выше стихий, провозгласил Абсолютное «всеобъемлющим и всеуправляющим», «единым», «вечным»<sup>102</sup>. Соотношение же «Абсолют – природа» он вообразил как повторяющийся процесс рождения и поглощения.

Однако, будучи естествоиспытателем, Анаксимандр не пошел дальше этих самых общих утверждений. Он, по-видимому, не сделал никаких прямых религиозных выводов из своего учения, которое осталось лишь отвлеченной теорией.

Но среди слушателей Анаксимандра находился странствующий певец, который превратил осторожные догадки ученого в оружие, своим острием направленное против старых верований.

\* \* \*

Имя этого певца *Ксенофан*. Он родился около 580 года в ионийском городе Колофоне. В Милет его привела любознательность, желание послушать прославленных мудрецов. С молодости беспокойный ум колофонца тревожили сомнения и вопросы. Все вызывало в нем жгучий интерес: тайны природы, происхождение мира, но главное, что влекло его, это проблема истинной веры. Профессия бродячего рапсода как нельзя больше соответствовала его натуре: он мог исколесить множество городов, узнать многообразные обычаи и нравы. «Вот уже шестьдесят лет, – говорил он на склоне дней, – как я со своими думами ношусь по греческой земле, а тогда мне было двадцать пять». Малую Азию он принужден был покинуть с прочими греками-беженцами, которые спасались от персов. В 546 году персидский царь Кир подчинил себе Ионию, а в 494 году восставший Милет был взят приступом и разрушен войсками Дария I.



Арфист

Покинув Малую Азию, Ксенофан много лет вел скитальческую жизнь, зарабатывая на хлеб игрой и пением. Всюду, где бы он ни был: в шумных гаванях, на лесистых побережьях, в горах, – он внимательно ко всему приглядывался, прислушивался, размышлял и делал выводы. В сиракузских каменоломнях он находил отпечатки морских животных. Это привело его к догадке, что некогда здесь, на месте суши, шумели морские волны. Не было числа загадкам и удивительным вещам, которые подмечал острый взгляд Ксенофана.

Еще больше пищи для размышлений давали люди. Чего только не довелось повстречать рапсода: разрушенные города, толпы переселенцев. Он рассматривал птицеглавых богов, вел беседы с жрецами, а также с матросами и купцами, ходившими в далекие земли. Он познакомился с разными религиями и обрядами и мог сопоставить их.

Первым его выводом было недоверие к человеческим мнениям. Поскольку религии противоречат друг другу, следует признать, что знания людей о высшем мире относительны, если не ложны вовсе:

Не было мужа такого и после не будет, кто знал бы  
Истину всю о богах и о всем, что теперь говорю я,  
Пусть даже кто-нибудь правду изрек бы: как мог бы  
узнать он,  
Правду иль ложь он сказал? Лишь призраки людям

доступны.

Однако на этих сомнениях Ксенофан не остановился. Он говорил: «Не от начала все открыли боги смертным, но постепенно, ища, люди находят лучшее». Это очень важное свидетельство о его взглядах. С одной стороны, оно обнаруживает его веру в возможность приближения к истине, а с другой – убеждение, что это происходит постепенно. Тем самым мудрец преодолевал свой релятивизм и побуждал людей к поискам истины.

Около 540 года Ксенофан приехал в Южную Италию и поселился в приморском городе Элее. С Пифагором, который в то же время нашел вторую родину в «Великой Греции», он не был знаком, но завязал тесные связи с орфическими братствами. Говорят даже, что когда Ксенофан попал в плен к персам, орфики выкупили его.

Став постоянным жителем Элеи, рапсод в душе остался странником, или, лучше сказать, вечным «чужеземцем». Он складывал поэмы, в которых любил подтрунивать над нравами, модами и суевериями сограждан. Излюбленной мишенью его сатиры был распространенный в те дни культ физической силы. Для него же достоинство человека оценивалось не крепостью мускулов, а его разумом. «Наша сила, – говорил Ксенофан, – гораздо лучше силы людей и лошадей». Он осуждал тиранов, но и без особого доверия относился к демократии, иронически отзываясь о «мудрости большинства».

Ксенофан вел скромную, почти бедную жизнь: он был врагом роскоши, хотя и не отвергал простых радостей жизни. Этот предтеча Сократа считал себя не только певцом, но и проповедником, учителем, моралистом. Шутками, каламбурами, едкой насмешкой он будоражил мысль, заставляя задуматься. Как и Пифагор, он с отвращением говорил о гомеровской мифологии:

Что среди смертных позорным слывет и клеймится  
хулою,  
То на богов возвести наш Гомер с Гесиодом дерзнули:  
Красть, и прелюбы творить, и друг друга обманывать  
хитро.

Мало того, он вообще пришел к убеждению, что все эти столбообразные, звероголовые и человекоподобные боги, на которых он насмотрелся в своих скитаниях, – не более чем простой вымысел людей:

Если бы руки имели быки, или львы, или кони,  
Если б писать, точно люди, умели они что угодно, —  
Кони коням бы богов уподобили, образ бычачий  
Дали б бессмертным быки; их наружностью каждый  
сравнил бы  
С тою породой, какой он и сам на земле сопричислен.  
Черными пишут богов и курносыми все эфиопы,  
Голубоокими их же и русыми пишут фракийцы<sup>103</sup>.

Но это не все, что хочет сказать поэт. Пусть человеческие суеверия рожают богов по подобию людей, есть истина, которую постигают мудрые. К ней Ксенофан пришел путем долгих размышлений, ее подсказали ему наблюдения над природой, учение Анаксимандра и собственный разум. Поэт говорит о ней словами, звучащими торжественно и вдохновенно, подобно пророческому речению:

БОГ ЖЕ един, между смертных и между богов  
величайший.

Смертному он не подобен ни видом своим, ни душою<sup>104</sup>.

Вот первое в Греции открытое выступление против традиционной религии! По мановению бродячего рапсода блистающий Олимп меркнет и становится ничтожным и во всем открывается присутствие Единого... В то время как Фалес, Анаксимандр и Пифагор в своем учении о мировой

Субстанции соприкасались с индийской мыслью, Ксенофан уже ближе к еврейским пророкам. Эта близость станет еще очевиднее, если мы обратимся к стихам Ксенофана, посвященным призванию певца. Строки, пленившие Пушкина, который дал их в вольном переложении, рисуют картину праздничной трапезы. Она никогда не обходилась без человека с арфой. Но если прежние певцы прославляли «титанов, гигантов, кентавров», то Ксенофан отказывается воскрешать эти вредные «бредни» и не желает прославлять старинные войны. В песнопении он будет говорить об истинном Боге:

Спервоначала должны славословить разумные мужи  
Бога – в напевах святых, в благоречивых словах.  
А возлиявши вина, сотворивши молитву, чтоб силу  
Дал нам он правду творить – это ведь лучший удел,  
Пить человеку не грех, лишь бы мог он домой  
возвратиться.

Таким образом, праздничная трапеза должна, по мнению поэта, рождать в человеке светлые мысли и чувства; радуясь в кругу друзей, он обязан помнить, что Бог – источник жизни, что он помогает людям «творить правду». Это – лучшая жертва во славу Божества.

\* \* \*

Отмечая этот «библейский» характер взглядов Ксенофана, следует тем не менее помнить, что сходство еще не означает тождества. Греческий мудрец, возвещая единство Божие, ставит других богов как бы на низших ступенях небесной иерархии, в то время как современник Ксенофана Исайя Второй знает, что над миром есть лишь один Бог и «нет иного» (Ис 45, 5).

По-другому понимал Ксенофан и отношение Бога к природе. Мысль о высшем Начале для него неотделима от созерцания зримого небосвода, чей необъятный простор казался ему реальным Богоявлением. Отсюда учение о Боге как о Существо *Всеедином*. Оно «срослось со всем» и объемлет вселенскую сферу. «Все едино и неизменяемо, и это есть Бог, никогда не рожденный, вечный, шаровидный». Эти слова вызывали впоследствии недоумение Аристотеля, которому мысль о телесности Божества казалась нелепой. Между тем учение Ксенофана было вполне последовательно. Признав, что Бог есть «все» (*ген кай пан*), он уже не мог увидеть различия между Ним и природой. В этом колофонец – верный ученик милетских натурфилософов и Пифагора, которые также не сознавали этого различия. Для Ксенофана Бог есть как бы душа мира:

Видит он весь, весь мыслит, весь слышит,  
Но, без усилья, все потрясает он духом разумным,  
Вечно на месте одном неподвижно он пребывает,  
Двигаться с места на место ему непристойно.

Итак, перед нами пантеистический *монизм*, свойственный Упаниадам, но с той лишь разницей, что брахманы рассматривали мир как *временное* воплощение трансцендентного Бога, а для Ксенофана Высшее было целиком и навечно включено в бытие.

Но как бы то ни было, учение греческого рапсода было смелым и радикальным для того времени. Предшественники Ксенофана, отойдя от народной религии, пришли лишь к мысли о некоей единой Первооснове космоса. Ксенофан же совершил «коперниканский переворот», признав эту Первооснову Божеством, которое надлежит чтить людям.

Однако этот переворот оказал влияние лишь на «любителей мудрости», он не поколебал народных воззрений. Ни мистик Пифагор, ни рационалист Ксенофан не имели достаточной силы, чтобы изменить религиозное сознание греков. Этот разрыв между философией и популярными верованиями сохранился до самого конца античности. Перебросить между ними мост не были в состоянии ни оккультная мистика, ни философские догадки. А пророков в библейском смысле Греция не знала. Поэтому дальнейшие судьбы религиозной мысли продолжали оставаться связанными с тонким слоем интеллектуальной элиты. А это, в свою очередь, определило преимущественно теоретический, умозрительный характер греческих учений о Боге.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.